

18+

Роман Поплескин



МАРФА
— ДА —
МАТВЕЙ



Роман Поплескин
Марфа да матвей

Поплескин Р.

Марфа да матвей / Р. Поплескин —

Деревня Ольховка живет тихой, жизнью на краю дремучего леса. Близнецы Марфа и Матвей обычные подростки: она записывает сказки старухи-травницы Агафьи, он мастерит, глядя на кузнеца Кузьму. Все знают, что странные истории о духах и древних богах — лишь выдумки для долгих вечеров. Но в год, когда лето было особенно щедрым, а мёд — сладким, древние сказки начали сбываться. Лес — кормилец, повернулся к людям иной, чужой стороной, и из чащи стали являться те, о ком пели лишь колыбельные.

Содержание

| | |
|--|----|
| ГЛАВА 1. Полные корзины и медовые соты | 7 |
| ГЛАВА 2. Грань | 14 |
| Глава 3. Человек из шкуры | 33 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 48 |

Марфа да матвей

Роман Поплескин

© Роман Поплескин, 2026

ISBN 978-5-0069-7161-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Давным давно в тридевятиом царстве в тридесятом государстве...





ГЛАВА 1. Полные корзины и медовые соты

Часть 1: Ольховка

В ту пору, когда лето входило в самую свою зрелую, золотую силу, Ольховка походила на спящего, сытого зверя. Воздух был густ и сладок: пахло нагретой смолой, цветущим липовым цветом и дымком из печей, где пекли хлеб из зерна прошлого урожая, про запас.

Лес отдавал своё богатство щедро, без намёка на будущую скупость. Из его зелёного мрака выходили женщины и девки, их спины гнулись под плетёными корзинами, доверху налитыми сизой черникой, рубиновой брусникой и тугими, пахнущими солнцем грибами-боровиками. Смех их был звонким и беспечным. Медведи, хозяева ягодных полян, ворчали где-то в глубине, уступая дорогу людям по старому, нерушимому договору. Дед Фёдор выходил одним из последних, его котомка была невелика, но в ней лежали диковинные грибы-лисички, да красноголовики, да сушёная мята – он знал места, про которые другие и не догадывались. Он кряхтел, опираясь на посох из можжевельника, но глаза под мохнатыми бровями были зорки и спокойны. Лес был ему домом, а не загадкой.

Поля меж лесом и деревней дышали ровным, тёплым дыханием. Ячмень отливал жидким серебром, а пшеница стояла стеной, тяжёлой, налитой, золотой до самого горизонта. Колосья шелестели тихим, обещающим шёпотом, словно говорили: «Ещё немного... подожди немного...». Ни тли, ни засухи – год выдался на редкость ладным, и в этом все видели добрый знак. Мужики, проходя по меже, с удовлетворением похлопывали по толстым колосьям, будто по крупам доброго коня.

А речка Сновка лениво несла свои светлые воды. У моста, на плоском камне, сидели рыбаки, и серебряные караси да плотвицы уже трепыхались в их берестяных кузовах. Улов не был богатырским, но на уху хватало, а несколько самых крупных, нанизанных на лыко, несли на базар – для вида и для обмена. Река была кормилицей смирной и предсказуемой.

Базарная площадь в этот день гудела, как растревоженный улей. Площадь была не замощена, просто широкая, утоптанная до глиняной тверди земля среди изб. Сюда съезжались телеги из соседних Заречья и Дубровки. Воздух звенел от гула голосов, ржания лошадей, скрипа колёс. Пахло кожей, дегтем, свежим сеном, парным творогом и пряными травами. На разостланных холстинах красовалось всё: от грубых горшков и серпов до диковинок – пёстрых лент из города, блестящих пуговиц, блоков соляного камня, похожего на застывший лёд. Кузнец Кузьма стоял у своего воза, где вместо товара лежали его инструменты и несколько топоров да ножей, сверкавших зеркальной полировкой. Он не кричал, лишь изредка, в ответ на вопрос, отзывался густым басом: «Крепче не сделаешь». И все знали, что это правда.

А на крыльце избы под старой сторожевой елью сидела Бабушка Агафья. Рядом, на приступке, расположились Матвей и Марфа. Это был их обычный, любимый островок покоя в шумном море деревенского дня. Агафья, её пальцы, похожие на корни, ловко перебирали пучки сушёного зверобоя, рассказывала. Неспешно, голосом, похожим на шорох старого пергамента.

«...И вывела тогда Макошь, пряха судеб, нить новую из пуха облачного. А Велес, скотий бог, тропу к водопою указал, чтоб нить та не прервалась. И был договор...»

Марфа, склонившись над своей тетрадкой в кожаном переплёте, старательно выводила пером строки. Она записывала не всё подряд, а чувствовала – какие слова важные, какие имена нужно сохранить. Она верила в сказку как в красивую выдумку, но записывала её с таким благоговением, будто это были священные тексты. Рядом лежал её собранный утром букет из иван-чая и душицы. Матвей же сидел, подперев голову руками, и смотрел, как муха бьётся о стекло волошки. Его ум, практичный и цепкий, искал в рассказе Агафьи несоответствия.

Как может облачный пух стать нитью? Какую выгоду имел Велес, указывая тропу? Его интересовала механика чуда, даже если оно было вымышленным. Он верил в сказку как в красивую аллегория, за которой скрывается реальный совет – например, о том, как договариваться с соседями о выпасе скота.

Заметив движение на дороге – возвращающихся из леса с полными корзинами, – Марфа первая встрепенулась.

– Смотри, Матвей, несут чернику! И дед Фёдор с ними. Побежали на площадь? Купец из Дубровки, говорят, орехи мёдом залитые привёз! Матвей, всегда готовый к действию и новым впечатлениям, уже вскочил.

– Давай. Может, новые напильники у кузнеца появились.

Агафья не стала их удерживать. Она лишь кивнула, и её мудрый, чуть грустный взгляд проводил их. Она видела, как они бегут – он, словно молодой волк, жаждущий обнюхать весь мир, она, словно птица, улавливающая малейшее движение в траве. Они верили в твёрдую землю под ногами, в полные закрома, в ясное небо над головой. Они верили в то, что сказки остаются на крыльце вместе со старухой, а жизнь – это ягоды в корзине, блеск новой пуговицы и вкус медового ореха. Базарная площадь Ольховки в разгаре дня была похожа на гигантский, шумный организм, где каждая клетка – своя торговля.

Ряды делились на свои, ольховские, и привозные: Слева, под стенами амбаров, раскинулось местное, земляное царство. Здесь пахло сыростью, глиной и жизнью: Гончар Никита расставил пирамиды из горшков, крынок и свистулек в виде птиц. Земляная посуда звенела глухо и надёжно. Рядом Алёна, вдова рыбака, разложила на холсте вяленую рыбу, от которой тянуло солёным ветром. Дети воровали у неё сушёные хвостики, как лакомство. Молодые мужики стояли у возов с сеном, горохом в стручках и луковицами, такими крупными, что каждая могла бы служить кулаком великана. Девки из соседних дворов стыдливо предлагали кружева и вышитые рушники с петухами да геометрическими солнцами.

В центре, под ярким солнцем, бушевал караванный торг: Кожевник из Заречья хвастался ремнями, сбруей и мягкими, выделанными до бархата овчинами. Старик-лудильщик ворчал над горой медных тазов и самоваров, вечно подправляя их своим паяльником. Разносчик с таинственным ящиком зазывал на «дикивинку морскую» – сушёную каракатицу и раковины с шумом океана внутри. Но главной приманкой для ребятни и сладкоежек был правый край площади, где стояли телеги из Дубровки. Воздух здесь был густым, тёплым и пьянящим – пахло воском, прополисом и, конечно, мёдом. Иван Дубровский, купец, известный всей округе, был человеком дородным, с окладистой бородой, в которую, казалось, вплетались золотистые капли его же товара. Глаза его, маленькие и очень живые, прятались в складках улыбки. Он не кричал, а вёл беседу – громко, радушно, размахивая руками.

– Ольховские! Подходи, не стесняйся! Не соль тебе всучить, не ржавое железо, а самую что ни на есть сладость солнечную, пчелиную удаль! Смотри – липовый, душистый, от хворей грудных! А это – гречишный, тёмный, силач, кровь гонит! А этот, с орешками, сам Перун, небось, за щёку закладывал!

Его телеги были уставлены деревянными кадками и глиняными кувшинами, заткнутыми вощёной холстиной. На отдельном столике под навесом лежали, сверкая янтарными гранями, сотовые пласты – шестигранные чудеса, полные жидкого золота. И ещё – деревянные бочонки с медовухой, от которых голова могла закружиться с одного лишь вдыхания паров. Марфа и Матвей, протиснувшись сквозь толпу, остановились как вкопанные перед этим великолепием. Для них Иван был не просто купцом. Он был воплощением щедрости и праздника.

– А, мои гости почётные! – загремел Иван, заметив их – Хранительница узоров и мастер на все руки! Как поживаете? Агафья Петровна здорова? Ну-ка, дайте сюда две лучинки чистые! Не спрашивая, он отломил два небольших куска сотового мёда, нанизал их на заострённые щепки и протянул близнецам. Мёд был тёплым от солнца, воск таял на губах, а сладость разли-

валась по рту таким густым, цветочным потоком, что на миг перехватывало дыхание. Это был не просто вкус. Это был вкус благополучия, тёплого лета и того, что мир устроен правильно.

– Спасибо, дядя Ваня! – выдохнула Марфа, облизывая пальцы. – Ничего, ничего, детки. Вы меня своим видом радуете, – Иван понизил голос, его маленькие глазки блеснули.

– А у меня для вашей бабушки кое-что особенное припасено. Мёд с молодильной травы, с той самой поляны, что за Синим камнем. Слышали, небось, сказки? Так вот, он самый. Передайте, да поклон отнесите. Он сунул Матвею в руки маленький, плотно запечатанный глиняный горшочек. Горшочек был не холодным, а будто вибрировал едва уловимо, словно в нём заперли жужжание целого пчелиного роя. Матвей, удивлённый, кивнул. Пока они стояли, наслаждаясь мёдом и болтая с Иваном, их глаза скользили по другим товарам. Марфа загляделась на коробейницу из города, у которой были стеклянные бусы цвета речной воды и мороза. Матвей замер перед телегой странного, молчаливого торговца, который не кричал, а сидел на облучке, курил трубку, а перед ним на рогоже были разложены диковинные предметы: ржавая, но изящная заморская лупа в медной оправе, несколько странных монет с нечитаемыми письменами, перо, похожее на павлинье, но чёрное как смоль, и – что больше всего привлекло Матвея – несколько брусков металла необычного цвета: один – с фиолетовым отливом, другой – тускло-зелёный, как болотная тина. Торговец молча следил за его взглядом. Матвей потянулся было к бруску, но Марфа дернула его за рукав.

– Матвей, смотри! – она указала в сторону, где мужики толпились у воза с солью. Дед Фёдор, уже без котомки, но с новым посохом (из черёмухи, Матвей отметил про себя), о чём-то горячо и негромко спорил с Кузьмой Громоваром. Кузьма стоял, скрестив руки, слушал, не перебивая, но лицо его было хмурым, а глаза, казалось, вбирали в себя не слова, а сам смысл тревоги старика. Фёдор жестикулировал, показывая то на лес, то на свой новый посох. Матвей смог разобрать лишь обрывки:

– ...не так, Кузьма, не так шумят... В овраге Медвежьем – тишина мёртвая, птицы нет... А этот посох... сам под ноги лёг, будто просился... Кузьма в ответ лишь покачал головой и сказал что-то короткое и увесистое, как удар молота. Фёдор вздохнул, махнул рукой и пошёл прочь, к кабаку, видимо, чтобы промочить горло и забыться.

Часть 2: Хроникёры Ускользящей Правды.

Изда Веденских стояла чуть в стороне от деревенской улицы, под тенью старой раскидистой ивы. Она не была бедной – крепкие брёвна, новая драночная крыша, но в ней чувствовалось не жильё, а временная стоянка. Как будто хозяева всегда были готовы сорваться с места, и сама домовитость здесь была невольной. Войдя внутрь, попадал не в дом, а в музей чужих дорог и остановившегося времени. Воздух пахло пылью, сушёными травами и старым деревом. Главное место в горнице занимал дубовый стол, весь испещрённый царапинами, чернильными кляксами и следами от лезвий. На нём царил хаос, который только хозяева могли счесть порядком: свитки бересты, зажатые в тисках не до конца развернутые, потёртые кожаные тома с застёжками, глиняные черепки с нацарапанными знаками, и карты.

Карты были везде. На столе, приколотые к стенам, даже на единственном свободном табурете лежал натёртый воском холст с набросками северных рек и гор. На них не было чётких границ – только пунктиры троп, кружки-стоянок, значками отмечены «камень-великан», «старая сосна с лицом», «поляна без птиц». Это были не карты земель, а карты примет и странностей. На полках, вместо обычной утвари, стояли предметы-загадки: сумка из незнакомого грубого меха, пара бронзовых фибул с узором в виде бегущих оленей, странный плоский камень с отверстием посередине – «солнечный компас», как называл его отец. В углу, прислонённый к печи, стоял прочный посох из можжевельника с навершием в виде ворона – его оставила мать, сказав, что он «не захотел идти» в последний путь. Марфа, войдя, первым делом подошла

к маленькому оконцу, где стояли два засохших венка из полевых цветов – их сплели и оставили родители в день отъезда. Они давно превратились в ломкую пыль, но убирать их рука не поднималась.

– Два года, – тихо сказала она, не оборачиваясь. – Ровно два года на Ивана Купалу уехали. Говорили: «К осени будем, с полными котомками диковин». – А пришли бы – опять бы через месяц сорвались куда-нибудь к «камню-плачущему» или в «болото, где поют лягушки на старый лад», – отозвался Матвей. В его голосе не было злости, лишь усталая, застарелая горечь. Он подошёл к столу, провёл пальцем по пыльной кромке карты. – Весь мир им был интересен, кроме своего дома. Кроме нас. Они стояли в центре комнаты, и тишина здесь была особой – не уютной, а выжидающей. Каждая вещь в избе была неммым укором и напоминанием.

Какими они были, Семён и Марья Веденские?

Отец, Семён. Высокий, сухопарый, с лицом, обветренным до цвета старой меди. Глаза – светлые, серые, как дымка над рекой, всегда прищуренные, будто высматривающие что-то на горизонте, даже в собственной избе. Руки длинные, пальцы узловатые от постоянной работы с пером, резцом и верёвкой мерной. Он мог молчать часами, а потом выдать целую лекцию о том, как по узору трещин на черепке определить возраст горшка и какой народ его слепил. Его тихая одержимость была тихой, но всепоглощающей. Для него мир был гигантской головоломкой, которую он обязан был собрать.

Мать, Марья. Невысокая, крепкая, с густыми тёмными косами, которые всегда были немного растрёпаны, будто их только что трепал степной ветер. Глаза – тёмно-карие, почти чёрные, и невероятно живые. В них постоянно вспыхивали искры – то любопытства, то нежности, то внезапной догадки. Она говорила быстро, образно, могла часами рассказывать детям сказки, но не выдуманные, а те, что «подслушала у старого камня или у реки». Её магия была в слове и внимании. Она слышала то, чего не слышали другие: шёпот трав, спор ветров, усталую песню старого дома. Для неё мир был великой Книгой, которую нужно было научиться читать.

– Помнишь, как он пытался научить меня читать карты по звёздам? – сказал Матвей, глядя на потолок, где через маленькое слуховое окно виднелся клочок неба. – А я всё спрашивал: «Зачем? Есть же дороги». А он говорил: «Дороги могут исчезнуть, сынок. А звёзды – никогда. Они – самый верный гвоздь, на котором всё держится».

– А мама... – Марфа обняла себя за плечи. – Она говорила, что у каждого места есть своё имя. И если назвать его правильно, оно тебе поможет. Она всё пыталась узнать у Агафьи старые, забытые имена... для своих карт.

Они замолчали. В тишине заскрипели половицы, будто сам дом вздохнул. На столе, в луче заходящего солнца, ярко блеснула стеклянная линза от отцовской подзорной трубы, лежащая на развороте книги. Марфа подошла, взяла её. Под линзой на пожелтевшей странице был изображён странный узор: концентрические круги, пересечённые зигзагом, а подпись, выведенная уверенным почерком Семёна, гласила: «Знак «Сердца Леса». Встречен на менгире у Белого Бора. По местным – хранит от «оборотной стороны».

– «Оборотная сторона»... – прошептала Марфа. – Это как... изнанка мира? Навь? – Бредни, – буркнул Матвей, но без прежней уверенности. Он снова посмотрел на карту, на значок «Белый Бор» на самом краю, у края бумаги, почти в неизвестности. – Просто старый камень с царапинами. Они, наверное, сидят у какого-нибудь костра, рисуют новую карту и даже не вспоминают, что у них... что мы тут... Он не договорил. Сказать «ждём» было бы неправдой. Они уже почти перестали ждать. Они привыкли.

Марфа положила линзу на место, и её взгляд упал на маленький деревянный сундучок под столом – её личную «сокровищницу». Там лежали самые ценные для неё «артефакты»: красивый кремень, подаренный отцом, пёрышко сойки, засушенный цветок, и... свёрнутый в трубку листок, который мать сунула ей в руку в день отъезда. «Не разворачивай, пока не ста-

нет совсем страшно или совсем одиноко», – сказала она тогда. Марфа так ни разу и не развернула. Было и страшно, и одиноко, но вскрыть это последнее послание значило бы поставить точку. Признать, что это – прощальное письмо.

– Знаешь, – тихо сказал Матвей, глядя в темнеющее окно, где уже зажигались первые огоньки в других избах. – Иногда мне кажется, они нашли что-то такое настоящее... такое важное, что всё остальное – мы, Ольховка, этот дом – для них стало просто... картинкой на карте. Одной из многих. Марфа не ответила. Она смотрела на тот самый значок «Белого Бора» на карте отца. И ей вдруг, с леденящей ясностью, показалось, что это не просто точка. Это – рана на бумаге. И из неё медленно, невидимо, сочится та самая «оборотная сторона», заполняя сначала карту, а потом и весь мир вокруг. Они легли спать в своей горенке, под толстыми, сшитыми матерью одеялами. Сны к ним не шли. Вместо них из темноты углов на них смотрели немые лица привезённых масок, с полнок доносился лёгкий звон от прикосновения ночного ветра к бронзовым фибулам, а карты на столе, казалось, шелестели, продолжая жить своей тайной жизнью, в которой уже не было места живым картографам. Дом был полон их вещей, их запаха, их страсти. Но самих их в нём не было. Была только двойная пустота – в центре комнаты и в сердце близнецов. И первое, ещё не осознанное понимание, что чтобы заполнить её, придётся не ждать, а пойти по их следам. Даже если эти следы ведут за край всех карт, в самое сердце тишины, которая теперь звучала набатом.

Утро после базара было ясным и звонким, но в воздухе уже висело едва уловимое предвкушение праздника, а для немногих – и предчувствие.

Кузница Кузьмы стояла особняком, и к ней не просто шли – к ней поднимались, будто к маленькой крепости. Она была сложена из тёмного камня и вековых дубовых плах, и от неё всегда тянуло не просто жаром, а основательным, укоренённым теплом, как от сердца горы.

Кузьма встретил Матвея не словом, а кивком. Он уже стоял у горна, и в свете синеватого пламени его фигура казалась монолитной, высеченной из гранита. Его руки, покрытые паутиной старых ожогов, деловито перебирали угли. Он не спрашивал, зачем пришёл парень. Если пришёл – значит, нужно.

– Праздник. Огню нужны зубы, – хрипло бросил Кузьма, указывая подбородком на кучу старых, погнутых вилок и сломанных кос. – Выправь да наточи. Не для дела – для вида. Чтобы блестели.

Это была типичная для Кузьмы задача: бесполезная с практической точки зрения, но бесконечно важная с точки зрения смысла. Вилы для прыжков через костёр не должны быть острыми, но они должны сиять, воплощая идею очистительного огня. Матвей кивнул и принялся за работу, его практичный ум сразу оценив масштаб: сначала выправить на наковальне, потом крутить точильный круг ногой, следя за равномерностью.

Работа шла под аккомпанемент ритмичных ударов молота Кузьмы. Он ковал что-то небольшое, и с каждым ударом по раскалённому металлу, воздух в кузнице содрогался густой, плотной волной. Матвей, привыкший к этому, сегодня почувствовал не просто звук, а давление. Будто каждый удар не формировал железо, а утрамбовывал саму реальность вокруг.

– Дядя Кузьма, – не выдержал Матвей, глядя, как тот закаляет в бочке с водой маленький, изящный кинжальчик. – На базаре... один торговец странный металл продавал. Фиолетовый... и зелёный, как тина. Это что, красили?

Кузьма не сразу ответил. Он вынул клинок, оценивающе посмотрел на сизую побежалость, и только потом его глаза, цвета раскалённых углей, устремились на Матвея.

– Красили, – крикнул он. – Не люди. Земля. Такое железо в местах переменных рождается. Где вода с огнём в земле спорят. Где тень долгая ложится. – Он отложил кинжал и взял со стола тот самый обломок метеорита с оплавленной коркой. – Вот это – небесное. Чистое, звонкое. А то – земное, да с примесью. В нём воля не ясная сидит. Его ковать... нужно знать,

для чего. И с чем сплавить. А то выйдет клинок, который не защищать будет, а жадать – крови, горя, смятения.

Матвей замер. Это был не ответ, а шифр. Но его ум, любивший разгадывать, ухватился за понятия: «места переменные», «примесь», «сплавить». Он понял главное: материал определяет суть вещи. И странные бруски – это не просто диковинка, а опасный, непредсказуемый материал, с которым нужно обращаться осторожнее, чем с огнём.

– А можно... научиться? Различать такие места? И металлы? – спросил он, не надеясь на ответ.

Кузьма долго смотрел на него, и в его взгляде мелькнуло что-то древнее и тяжёлое.

– Места... они сами о себе говорят. Тишиной не той. Цветом воды. Запахом ветра. Металл... – Он протянул Матвею небольшой брусок обычного железа и кусочек олова. – Закрой глаза. Дай руки. Чувствуешь?

Матвей закрыл глаза. Под пальцами были просто холодные куски металла.

– Нет, – честно сказал он.

– Потому что ты пальцами чувствуешь, – произнёс Кузьма. – А надо костями. Сердцевиной. – Он положил свою огромную, шершавую ладонь поверх рук Матвея. И в тот же миг парню показалось, будто железо стало чуть теплее, отдавая едва уловимую, глухую вибрацию, а олово – осталось мёртвым и инертным. Иллюзия длилась миг. – Это не за раз. Годами. Уважение к материи – вот ключ. Не покорение. Диалог.

Этот урок – не о силе, а о слушании – Матвей запомнит навсегда. Позже, в Нави, его руки сами будут чувствовать, из какого дерева можно сделать посох, а какое дерево – уже «нездешнее», и какой камень подойдёт для пращи.

Дом Прасковьи был полной противоположностью кузнице. Небольшой, опрятный, он тонул в зелени палисадника и был наполнен запахом сушёных трав и тёплых пирогов. Но главное его богатство было невидимым на глаз и неслышимым для постороннего уха.

Прасковья, худая, как тростинка, с лицом, изрезанным морщинами-нотками, встретила Марфу не улыбкой, а кивком посвящённой. Её голос, казалось, вообще не умел говорить громко – только петь или шептать.

– Купальские песни – не для веселья, Марфушка, – начала она, усаживая девушку на лавку. – Они – веревки. Одни – чтобы опустить дары в воду (и она сделала плавный, ниспадающий жест рукой). Другие – чтобы поднять силу из земли (жест сменился на тянущий вверх). Третьи – чтобы связать в хороводе род, чтоб не распался в эту ночь.

не стала сразу петь. Она начала с дыхания. Показала, как дышать не грудью, а животом, упираясь в землю, чтобы звук шёл «не из горла, а из самого нутра, от матери-земли». Марфа повторяла, чувствуя, как странная тяжесть и покой растекаются от диафрагмы.

Потом пошли звуки. Не слова, а открытые гласные, мычания, придыхания.

– Это язык старше наших слов, – шептала Прасковья. – Им с стихиями говорят. Водиче – «у-у-а-а». Огню – «э-э-о». Земле – «ы-ы-м». Запомни интонацию. Вопрошающая (голос поплыл вверх). Утверждающая (голос лёг ровно и тяжело). Запрещающая (короткий, обрывистый звук, как щелчок).

И только потом, на этот «костяк», стали нанизываться слова купальских песен. Прасковья пела строчку – Марфа повторяла. Но дело было не в точности. Прасковья ловила её взгляд, поправляла:

– Не так. Тут не грустить нужно, а жалеть. Жалеть траву, что под костром сгорит. Слышишь? В голосе жалость должна быть, а не печаль.

Или:

– Эту – веселей! Но не криком, а искрой! Будто ты угольком из костра потряхиваешь!

Марфа впитывала. Она поняла, что песня – это не мелодия и текст. Это инструмент. Звук – это такая же материя, как глина или металл. Его можно лить, формовать, направлять.

Она ловила едва уловимые дрожания в голосе Прасковьи, когда та пела о «глубокой водице», – будто сама вода отзывалась в её гортани.

В перерыве, попивая травяной чай, Прасковья сказала не глядя:

– Бабка Агафья говорила, у тебя слух особый. Ты не только слова слышишь. Ты промежутки между ними слышишь. Пустоты. Вот в них-то самое главное и живёт. В тишине между нотами. В молчании между словами заговора. Её и лови. И запоминай.

Когда Марфа уходила, её голова гудела не от усталости, а от переполненности. Она теперь знала: чтобы успокоить духа, нужно петь с жалостью и утверждением. Чтобы окликнуть потерявшегося в лесу – с вопрошанием и печалью. А чтобы остановить нечто злое – резким, обрывающим звуком, создающим в воздухе барьер из тишины.



ГЛАВА 2. Грань

Часть 1: Подготовка

Это утро перед Купалой не было похоже ни на одно другое. Солнце висело в небе не светилом, а зрячим оком, и его взгляд, золотой и тяжёлый, прижимал к земле не пыль, а самую суть вещей. Луга за Ольховкой, обычно просто зелёное море, сегодня раскрылись как священная книга. Каждая травинка, каждый цветок отливал особым, говорящим светом: серебристым у полыни, бархатно-лиловым у иван-чая, трепетно-жёлтым у купальницы.

Собирались на краю поля, у старой, кривой берёзы – «девичьей поклонницы». Шли без смеха, без обычной болтовни. Даже Лидка, вечно готовая на подкол и смех, притихла и поправила платок. Шли как на службу. Потому что сбор купальских трав – это и была служба. Не хозяйству, а самой ночи, которая грядёт.

Их возглавляла Агафья. Она не просто шла – она открывала путь. Её тёмный сарафан казался островком спокойной ночи среди яркого дня, а в руках она несла не корзину, а плетённый берестяной короб – старый, потемневший, с выжженными на крышке знаками, похожими на сплетённые корни.

– Не рви что попало, – сказала она, и её голос, обычно приглушённый, здесь, на ветру, звучал чётко, как удар по стеклу. – Слушайте. Растение само скажет, готово ли отдать свою силу для ночи. Не просите. Прислушайтесь.

Они разбрелись по лугу, но недалеко друг от друга. Каждая выбрала свой участок и замерла, склонившись. Сбор шёл в почтительном, звенящем молчании, нарушаемом лишь шелестом юбок да жужжанием пчёл, которые сегодня жалили редко, будто и они понимали значимость момента.

Анисья, молодая вдова, собирала плакун-траву у самой кромки ручья. Она не просто срезала стебли. Она сначала кланялась воде, шепча: «Благодарствую, хозяйюшка, за влагу», а уже потом, быстрым и точным движением, брала ровно три стебля – «на здоровье, на терпение, на радость». Её движения были экономны и полны нежной, материнской силы.

Лидка, выбравшая заросли иван-да-марьи, сперва делала всё слишком быстро, срывая цветы горстями. Но потом, поймав на себе взгляд Агафьи – не гневный, а вопрошающий, – замедлилась. Она присела, коснулась пёстрога цветка, где фиолетовый и жёлтый лепестки сплетены в неразрывную пару. И вдруг её лицо смягчилось. Она сорвала один цветок, аккуратно, и положила в корзину отдельно от остальных, будто пряча сокровище.

А Марфа шла рядом с Агафьей. Это была высокая честь и огромная ответственность. Бабушка не помогала ей, а направляла взгляд.

– Видишь разрыв-траву? – Агафья указала на скромное растение с мелкими цветами. – Не подходи к тому, что у камня растёт. Тот камень тяжёлый, думы тёмные в себя вобрал. Трава с него силу разрыва возьмёт, а не соединения. Бери ту, что на солнцепёке, меж корней старой сосны. Та знает и о свете, и о глубине.

Марфа подошла к указанному растению. Она не наклонилась сразу. Она присела на корточки, закрыла глаза на миг, как учили – не глазами смотреть, а кожей чувствовать. И ей почудилось едва уловимое жужжание, тихое-тихое, будто сама земля под травой поёт. Она коснулась стебелька и ощутила не хрупкость, а упругую, живущую силой упругость, словно натянутую тетиву. Это, – поняла она. Эта готова. Срезая, она прошептала не общую приговорку, а своё, рождённое в миг: «Дай мне силу видеть связи, что рвутся, и руки, чтобы их связать».

Потом был папоротник. Не тот, что цветёт невидимым цветом в полночь, а его брат – мощный, кудрявый, растущий в глубокой тени оврага. Агафья остановилась перед ним, как перед старым воином.

– Этот – страж. Его сила – не в цветке, а в памяти о свете, которую он хранит в самой густой тьме. Бери не центральную ветвь – она ядро. Бери молодой побег с краю. Он уже знает тьму, но ещё тянется. И помни – срезая, оставь у корня кусочек хлеба и щепотку соли. Плата стражу.

Марфа сделала всё, как велели. И когда соль коснулась влажной земли у корней, ей показалось, что огромный папоротник вздохнул, и тень под ним на миг стала менее густой.

Когда солнце достигло зенита, корзины были полны. Но это было не просто груда растений. Это был собранный воедино, живой арсенал.

Каждая травинка, собранная в благоговейной тишине, с нужной мыслью и жестом, была теперь ключом, щитом или мостом. Иван-да-марья – для крепости уз. Плакун-трава – для очищения и утешения. Разрыв-трава – для преодоления преград. Папоротник – для хождения сквозь тьму.

Возвращались они молча, но теперь это была тишина наполненности. Лидка несла свою корзину бережно, как ребёнка. Анисья шагала с новым, спокойным достоинством. А Марфа шла, чувствуя странную тяжесть не в корзине, а в самой себе. Она не просто собрала травы. Она вступила в договор с духом луга. Она взяла его силу, и теперь была обязана употребить её правильно в эту особую ночь.

После полудня, когда собранные травы разложили сушиться в тени, настало время тихого, сосредоточенного волшебства – плетения венков. Солнце, сместившись, уже не жгло, а облизывало брёвна изб длинными, тёплыми языками, и на завалинках садились кружками.

Это был не труд, а ритуал в полголоса. Женская половина деревни, от мала до велика, вынесла на улицу свои нехитрые сокровища: пучки цветов, гибкие прутья ивы и молодой берёзы, заранее замоченные, чтобы не ломались.

На завалинке у дома Анисьи собрался самый шумный круг. Замужние женщины и бабушки, их пальцы, привыкшие к шитью и лепке пельменей, ловко справлялись с прутьями, сплетая простые, но крепкие венки для ребятюшек. Они не гадали, не шептались – они творили уют. Вплетали в зелень яркие ленточки, клевер на счастье, пучки душицы для сладкого сна. Их разговоры были тихими, о хозяйстве, о детях, а их магия была магией защиты и лада.

– Чтобы голова не болела, вплети мятки, – советовала одна.

– А этот Ване от сглаза, пусть носит, пока не искупается, – говорила другая, вплетая в веночек маленький стручок красного перца.

Под раскидистой липой у колодца сидели девушки на выданыи. Здесь царил другая атмосфера – напряжённая, полная тайных надежд и смутных страхов. Они плели свои, личные венки, и каждый завиток, каждый цветок был посланием миру. Лидка, краснея, вплетала три одинаковые ромашки – символ простой и ясной любви. Другие выбирали колокольчики, чтобы жених «позвал», или васильки – на верность. Их пальцы двигались чуть медленнее, с оглядкой на подруг, а смех был тише и сдержаннее. Это была их личная магия притяжения, зашифрованная в цветах.

А Марфа сидела на крыльце у Агафьи, в тени старой ели. Это было её личное святилище. Перед ней лежали две кучи: одна – обычные, красивые полевые цветы для простого венка. Другая – особый набор: гибкий прут берёзы (связь с миром), стебель плакун-травы (очищение), веточка разрыв-травы (преодоление), три листа папоротника (защита во тьме), соцветие иван-да-марьи (нерушимая связь), пучок полыни (отражение зла) и... небольшой, нежно-синий цветок незабудки, который она принесла сама, не зная почему. И ещё – тонкая, упругая серебряная нить, подаренная Кузьмой. Она лежала, сверкая холодным, нездешним светом на тёмном дереве крыльца.

Первый венок она сплела быстро, почти машинально – красивый, пышный, с маками и васильками. Он был для вида. Чтобы не выделяться.

А потом началась настоящая работа. Она оглянулась, взяла особые травы и берёзовый прут. Агафья сидела рядом, качаясь, и её низкий голос тек, почти не шевеля губами, как будто ветер доносил слова:

– Начинай с берёзы... кору гладь, чувствуй сок... она – столб. Основа. Плакун рядом... обвей, но не туго... дай ему место слезу пролить... Теперь папоротник... лист к лицу, изнанкой наружу... чтобы видеть то, что скрыто... Серебро... серебро теперь... не вплетай, а веди. Как нить по узору. От корня к небу. Сперва – один виток у основания... это порог...

Марфа слушала не слова, а ритм. Её пальцы, обычно такие точные в вышивке, теперь двигались иначе – не по заранее известному рисунку, а следуя за живым материалом. Она чувствовала, как берёза хочет изогнуться в кольцо, а полынь стремится торчать колючками наружу. Она не ломала их волю, а договаривалась, подправляя, направляя. Серебряная нить, холодная и упрямая, словно сопротивлялась, не желая вплестаться в грубую материю трав. Марфа на мгновение закрыла глаза, вспомнила вибрацию железа в руке у Кузьмы, и представила, как эта нить – та же сталь, только тонкая-тонкая. Она стала вплетать её не как украшение, а как арматуру, как стальной нерв будущего венка.

Агафья шептала дальше:

– Незабудку – в середину. В самый центр. Там, где сердце. Чтобы не забыла, кто ты и зачем идёшь... Иван-да-марью – последней. Свяжи всё в узел. Но не мёртвый. Живой. Чтобы мог распуститься, когда придёт время...

Последний узел Марфа завязала не на горловине венка, а сбоку, спрятав его под листом папоротника. Готовый венок не был самым красивым. Он был странным.

В нём чувствовалась не гармония, а напряжение – между гибкостью берёзы и жесткостью серебра, между нежностью цветка и горечью полыни. Он не лежал кругом, а чуть пружинил в руках, будто хотел не просто украсить голову, а сделать что-то.

Агафья перестала качаться. Она протянула руку, не касаясь венка, а как бы ощупывая воздух вокруг него.

– Готово, – произнесла она уже обычным голосом, но с оттенком усталого удовлетворения. – Это не украшение, внучка. Это инструмент. Ключ и щит в одном. Носи его, когда пойдёшь воду встречать. И помни: он жив, пока жив твой замысел. Если страх возьмёт верх – серебро потускнеет, и травы станут просто травой.

Марфа кивнула, бережно положила особый венок в берестяной туесок и прикрыла его сверху обычным, красивым. С крыльца был виден весь мир Ольховки: кружки женщин, склонившихся над своим мирным волшебством, девушки, мечтающие о любви, дети, бегающие с полуготовыми венками набекрень. Она сидела среди этого покоя, а в её руках лежала заряженная тишина, сплетённая в кольцо.

На краю большой поляны, там, где уже начали сносить хворост для будущего костра, царил иной, мужской порядок. Здесь работали не с цветами, а с грубой соломой, верёвками и молчаливой силой. Шло возведение Морены – чучела, которое воплотит в себе всё худое за год и сгинет в очищающем пламени.

Работой заправляли Матвей и Артём, и их совместное руководство было похоже на танго двух разных хищников.

Артём был душой и голосом процесса. Он расхаживал между парнями, раздавал указания с хлёсткой шуткой, сам таскал охапки соломы, и его смех разрывал сосредоточенную тишину.

– Эй, Ванька, ты её руку или грабли вяжешь? Распусти, давай сюда! Костя, а ты что, из неё невесту делаешь? Пузатой она у тебя получается, как купчиха после ярмарки!

Его энергия была поверхностной, весёлой и практичной. Для него Морена была не символом, а задачей: сделать большое, заметное чучело, которое эффектно вспыхнет. Его мастерство было в скорости и удали.

Матвей же работал молча. Он отвечал за каркас – основу, на которую будут навязывать солому. Он подобрал три крепких, ровных жерди. Две – для перекрёстных «рук» и «плеч», одну – длинную, для «хребта». Его движения были методичными и выверенными. Он не просто связывал жерди верёвкой – он затягивал особые, тугие, сложные узлы, которые знал от отца-путешественника: «морской узел» для прочности, «прямой» для ровного стыка, а в самом центре, где сходились все жерди – «глухой узел», который не развяжется, даже если всё вокруг сгорит.

– Ты тут не скворечник строишь, можно и послабее! – крикнул ему Артём, заметив, с каким усердием Матвей обматывает соединение.

Матвей даже не поднял головы.

– Скворечник – домик. Он должен стоять. Это – скелет для огня. Он должен выдержать, пока его не поднимут и не бросят в костёр. Не развалиться по дороге.

– Выдержит, небось! – махнул рукой Артём, но в его голосе прозвучала лёгкая досада. Матвей со своей избыточной, непонятной основательностью всегда выбивал его из колеи. Зачем так стараться для того, что будет уничтожено через несколько часов?

Каркас, сделанный Матвеем, и вправду получился гибким и монолитным одновременно. Он не шатался, а чуть пружинил, когда его поднимали. Это была работа инженера.

Потом началось обвязывание. Парни, подхваченные азартом Артёма, принялись накручивать на каркас солому, утягивая её верёвками. Получалось быстро, но неряшливо. Солома торчала ключьями, фигура была бесформенной.

Матвей не выдержал. Молча, он взял новый моток бечёвки и начал поправлять. Он не срывал работу других, а дополнял её. Там, где солома висела лохмотьями, он аккуратно подбирал её и притягивал новым, аккуратным витком, создавая подобие «мышц» и «сухожилий». Там, где не было формы, он, используя остатки гибких прутьев, создавал контуры – сутулые «плечи», скрюченные «пальцы» из пучков соломы.

Артём наблюдал за этим, скрестив руки. На его лице играла усмешка, но в глазах – любопытство.

– Ну и зачем ей пальцы, профессор? Чтобы она, когда гореть будет, за огонь цеплялась?

– Чтобы была похожа на кого-то, – тихо ответил Матвей, затягивая последний узел. – Не на «всё дурное» вообще. А на что-то конкретное. На то, что каждый в неё вложит. Так работает.

Это была странная мысль, не для деревенского праздника. Но парни вокруг притихли. Каждый теперь смотрел на чучело и думал о своём – о болезни родных, о неудаче в деле, о собственной лени или злости.

Артём фыркнул, но не стал спорить. Он подошёл и водрузил на «голову» Морены старый, дырявый горшок – последний штрих, превращающий её в жалкое, уродливое существо.

– Ну вот и красавица! Готова на выданье... в царство огня и пепла!

Чучело стояло, безобразное, но теперь – осмысленно безобразное. Соломенный монстр с кривыми плечами и тоскливо опущенными прутьями-руками. В нём было что-то трогательно-жалкое и оттого чуть более страшное. Это была не абстракция. Это был пациент, подготовленный к очистительной операции огнём.

Матвей отошёл в сторону, вытирая пот со лба. Он смотрел на своё творение не с гордостью, а с холодной удовлетворённостью ремесленника, выполнившего чертёж. Он построил не просто каркас. Он построил правильный сосуд.

Сосуд, который выдержит и перенесёт весь накопившийся сор из жизни деревни к месту казни, не рассыпав его по дороге. В этом была его магия – магия формы, структуры и надёжности.

А Артём уже хлопал парней по спинам, созывая всех идти мыться к реке перед праздником. Их соперничество так и осталось неразрешённым: сила удали против силы расчёта, поверхностный блеск против глубинной прочности. Но оба они, каждый по-своему, сделали своё дело. Теперь Морена была готова. Оставалось дожидаться ночи, чтобы вложить в неё последнее – свои тихие мысли о горестях – и предать огню.

Часть 2: Иван Купала

Первые сумерки не спускались на землю, а поднимались из неё, как сизый, прохладный туман из-под корней трав. Воздух стал тягучим и звонким, будто пространство само настраивалось на неведомый лад.

На поляну, к месту будущего костра, где уже лежала аккуратной горой хворостина и зловеще высилось соломенное чучело Морены, начала стекаться вся Ольховка. Шли семьями, торжественно и тихо. Даже дети притихли, чувствуя смену тональности в мире. Одевались в лучшее, но без лишней яркости – в белые, жёлтые, зелёные рубахи и сарафаны, цвета травы, солнца и берёзовой коры.

В центре пустого круга, где позже разгорится пламя, встала Прасковья. Без неё не начиналось ничего. Она была живым камертоном деревни. Худая, прямая, с седыми волосами, убранными под тёмный плат, она казалась не старухой, а древним деревом, пустившим корни в самое сердце поляны. Она закрыла глаза, подняла лицо к последнему свету неба и... не запела, а выпустила звук.

Это был не голос, а голосение – долгий, чистый, чуть дрожащий звук, который не пел, а прокладывал дорогу. Он разрезал тишину, и за ним, как ручейки после ледохода, полились первые, ещё нестройные голоса молодых девушек. Потом подхватили женщины, бабы, и, наконец, низким, густым фоном – мужчины.

Хоровод двигался, медленно, против солнца. Ноги не танцевали, а совершали обряд – тяжёлый, мерный шаг, в такт ударам сердца земли. Ладони сцеплялись не для веселья, а для замыкания круга, для создания живого кольца силы вокруг священного места.

И зазвучала Песня. Не та, что поют в будни. А та, что помнила себя наизусть, словно камень помнит отпечаток древней ракушки.

Запевала Прасковья, высоко и чисто:

*Ой, да на море-океане,
Да на том на острове Бюяне,
Стояла берёза кудрява,
Корнями в Навь, макушкой в Правь!*

Хор подхватывал, густея и нарастая:

*Гой, Купала, ярая сила!
Огнь-вода, сестра-брат!
Разомкнись, земля-кормилица,
Нам на семь вёрст округу видать!*

Прасковья, с надрывом и мольбой:

*К нам шли гости незваные,
Тьмою в окна стучали,
Хворь-тоска, лихо злое,
В стоги сенные летали!*

Хор, яростно и отсекающе:

*Гой, Купала, ярая сила!
Огонь-вода, сестра-брат!
Возьми назад, мать-сыра земля,
Всё, что горько да худо богато!*

Слова были древними, половину из них певцы не понимали. Это были не понятия, а звуки-ключи, вибрации, которые должны были что-то сдвинуть в мироздании. Мелодия была простой и гипнотической, построенной на повторах, вводящей в лёгкий транс.

Марфа, стоя с краю, рядом с Агафьей, слушала. Но она слушала не слова. Она слушала то, что было между слов и под ними. И она увидела.

От двигающегося хоровода, от раскрытых в пении ртов, в густеющий воздух расходились волны. Не звуковые, а световые. Едва уловимые дрожания, похожие на круги от брошенного в воду камня, но только сотканые из переливчатого серебра и тёплого янтаря. Они расходились по земле, касались травы, и та слегка светилась в ответ тусклым, зелёным огоньком. Они уходили в небо, и последние облака на западе отзывались розовой рябью.

Это было пение земли. Не метафора. Физическое явление. Звук, рождённый соединёнными голосами общины, пробуждал дремлющую силу места, и та вступала в резонанс.

Агафья стояла неподвижно, её глаза были прикрыты, но она видела всё. Она почувствовала взгляд Марфы и, не открывая глаз, кивнула едва заметно.

– Слушай, внучка, – её шёпот был таким тихим, что его невозможно было услышать ухом, но он прозвучал прямо в сознании Марфы. – Это земля подпевает. Она помнит каждый голос. Каждое имя. Сейчас она просыпается. И открывает уши. Чтобы слышать, о чём мы попросим. И... чтобы услышать, кто позовет с той стороны.

Марфа поняла. Хоровод – это не прелюдия. Это первая часть диалога. Они будили силу, настраивали её на себя, подтверждали своё право здесь быть и просить. А пламя костра, что вот-вот возгорится, станет второй частью – яркой, жаркой молитвой, которую будет видно и слышно издалека. И очень важно было, чтобы первая часть была проведена чисто. Чтобы в их зове не было фальши, иначе... иначе земля могла услышать не то или ответить не тем.

Река Сновка в этот час была не просто водой. Она была жидким зеркалом, в котором тонуло небо, окрашиваясь в густые, бархатные тона – индиго, фиолет, чернильная синева. Берег, усыпанный народом, казался ярким и шумным островом в этом безмолвном потоке ночи. Воздух пах влажной травой, воском и девичьим ожиданием.

Очередь девушек с венками в руках вытянулась вдоль отлогого песчаного спуска. В каждом сплетённом круге из цветов и лент трепетало маленькое пламя свечи – душа желания, дове-

ренная воде. Обряд был старинным и весёлым. Парни стояли чуть поодаль, отпуская шутки, гадая, чей венок «жениха на себе утянет». Девушки смеялись, краснели, закрывали ладонями свечи от ветра.

Лидка бросила свой венок резко, с задором. Он крутанулся на воде, свеча качнулась, но не погасла, и поток понёс его вниз, к широкой части реки, где тьма была уже абсолютной. «Уплывает! Заморского князя найдёшь!» – крикнул кто-то. Лидка звонко рассмеялась, но в глазах её мелькнула неподдельная надежда.

Анисья, стоявшая с дочкой за руку, опустила два венка – свой простой, тугой, и дочкин, маленький, весь в ромашках. Она не загадывала для себя – только смотрела, как их уносит, и губы её шептали: «Встречайтесь светики, да обгоняйте». Её магия была тихой, материнской, вплетённой в саму ткань заботы.

Марфа стояла последней. Она держала два венка. Обычный, красивый, с маком, – его она спустила первой, шепнув формальное: «На счастье». Он послушно поплыл за другими, затерявшись в россыпи огоньков, уходящих в ночь.

В руке у неё остался второй венок. В сумерках он казался просто тёмным, невзрачным кольцом. Но те, кто стоял близко – а близко стояла только Агафья, – могли разглядеть странный серый отлив берёзового прута, тусклое серебро нити, будто вобравшей в себя весь свет, и скупые, почти чёрные пятна заговорённых трав. Он не был красивым. Он был функциональным.

Настала её очередь. Всякое веселье вдруг смолкло. Даже ветер стих, будто затаив дыхание. Все почувствовали, что сейчас произойдёт необычный обряд. Марфа ступила к самой воде. Холодная влага обняла её босые ступни. Она не стала зажигать свечу. Вместо этого она прижала венок к груди, почувствовав под пальцами живую пульсацию сплетённых стеблей и холодное сопротивление серебра. Она наклонилась к самой поверхности воды, где уже отражались первые звёзды, и выдохнула не желание, а приказ духа.

– Найди дорогу, – прошептала она так тихо, что звук затерялся в шёпоте воды. – Не мою. Ихнюю. Ту, что потеряна.

И опустила венок на воду.

Произошло то, чего не ожидал никто. Венок не подхватило течение. Он остановился. Замер на месте, будто лёг на невидимое стекло. Свежий ночной ветерок, дунь он сейчас, унёс бы любой другой. Но этот – нет. Вода вокруг него застыла, потеряла рябь.

А потом он тронулся. Медленно, невероятно плавно, будто его вёл незримый рулевой. И поплыл. Против течения. Вверх по реке, туда, где вода струилась из-под темнеющей стены леса.

На берегу воцарилась гробовая тишина. Смех, шутки, перешёптывания – всё разом оборвалось. Лишь вода тихо плескалась о берег, да где-то вдалеке кричала ночная птица. Все глаза, широко раскрытые от изумления и суеверного страха, были прикованы к одинокому тёмному кольцу, которое упрямо плыло в обратную сторону, в самое сердце надвигающейся тьмы.

Его пламя – не свеча, а тусклое, внутреннее свечение самого венка, будто серебряная нить раскалилась изнутри, – отбрасывало на воду не жёлтые блики, а зеленовато-сизые всполохи, как болотные огоньки.

– Мать честная... – ахнула какая-то баба, крестясь.

– Это... это он к лесу пошёл, – прошептал один из стариков, и в его голосе был не праздничный интерес, а леденящий ужас.

– Знак, – прошипел другой, и слово это, тяжёлое и мокрое, упало в тишину, как камень. – Лес зовёт. К себе.

Агафья стояла неподвижно, но её лицо было не маской спокойствия, а полем битвы. Брови сдвинуты, губы плотно сжаты, а в глазах, устремлённых на уплывающий венок, бушевала целая буря: признание, тревога, горькое удовлетворение и материнский страх. Она не хмурилась от досады. Она хмурилась, потому что предсказание сбывалось с пугающей точностью.

Венок, сплетённый по древнему узору и заряженный чистой волей, не ошибся. Он указал путь не к жениху, а к пропасти. К той самой «потерянной дороге» родителей. Или к чему-то ещё, что в эту ночь жаждало быть найденным.

Марфа стояла на краю воды, мокрая по щиколотку, и смотрела, как её творение исчезает во тьме под сенью деревьев. В груди у неё не было страха. Была тяжёлая, ледяная ясность. Её просьбу услышали. И ей ответили. Дорогу указали. Теперь оставалось только понять, хватит ли у неё и Матвея мужества пойти по ней, когда настанет время.

Тишина после запуска венков была не просто отсутствием звука. Она была живой, напряжённой, выжидающей субстанцией. Все стояли на берегу, повернувшись спиной к тёмной, уводящей венок реке, и смотрели в центр поляны, где высилась чёрная пирамида хвороста с соломенным чучелом на вершине. Морена в предрассветных сумерках казалась уже не просто куклой, а пленником, приговорённым к казни, и всеобщее молчание было прощанием с тем, что она олицетворяла.

Из толпы шагнули двое. Не самые молодые, не самые сильные – но самые корневые.

Дед Фёдор шёл медленно, опираясь на свой черёмуховый посох. Его лицо, изрезанное морщинами-тропинками, в этот миг было лишено обычной суровой простоты. В нём читалась тяжесть долга. Он нёс не просто огонь. Он нёс приговор от мира людей миру скверны. В его левой руке, дрожащей от возраста, но твёрдой в намерении, горела лучина. Но это был не просто факел. Это была ветвь от домашней лучины Агафьи, и горела она не ярким, ровным, почти лишённым дыма пламенем цвета старого мёда.

Рядом с ним, не поддерживая, а просто идя в ногу, шагала Агафья. Она несла свою лучину не перед собой, а прижав к груди, будто оберегая дитя. Её пламя было другим – не жёлтым, а синевато-белым, как лёд на сильнейшем морозе, и от него шёл не жар, а легкий, пронизывающий холодок. Это был огонь, зажжённый не от поленьев, а от того самого, древнего угля в её горне, что помнил, возможно, первый костёр на этом месте.

Они подошли к кострищу. Толпа замерла, затаив дыхание. Даже лес за рекой будто притих, подслушивая.

Фёдор поднял свою лучину. Его голос, обычно хриплый, вырвался наружу чистым, молодым басом, которого никто от него не слышал:

– Во имя света! – слово «свет» ударило по воздуху, как молот по наковальне.

– И очищения! – «очищения» прозвучало протяжно, как стон земли, избавляющейся от гнили.

Он наклонился и коснулся огнём сухого хвороста у самого основания.

В тот же миг Агафья вынесла вперёд свою сизую лучину. Её голос не гремел. Он стелился, как туман, но был слышен каждому до самого края поляны:

– Во имя связи!

Она сделала паузу, и в тишине прозвучал лишь треск первого, только-только занявшегося язычка жёлтого пламени от лучины Фёдора.

– Водных и огненных!

И она коснулась своим холодным пламенем того же самого места, но с другой стороны.

Что случилось дальше, никто не мог объяснить.

Пламя не разгорелось. Оно родилось. Не снизу вверх, а сразу везде. Мгновенно, без переходов, вся громада хвороста вспыхнула единым, яростным, ослепительным столбом. Не было дыма, не было потрескивания. Был только глухой, мощный вздох воздуха, всасываемого в эпицентр, и затем – свет.

Это был не просто свет костра. Он был неестественно ровным и плотным, как расплавленное золото, залитое в форму. Он окрасил лица людей не в прыгающие оранжевые тени, а в неподвижные, словно отлитые из металла маски – с одной стороны золотые, с другой – багряные, как запёкшаяся кровь. Тени исчезли. Их не было. Казалось, свет проникал повсюду, не оставляя места тьме.

Пламя взмыло в небо прямо и стремительно, как копьё, пронзив нижний слой облаков и осветив их изнутри багровым заревом. Жар от костра был не обжигающим, а глубинным, пронизывающим до костей, будто грел не тело, а самую душу, выжигая из неё холод сомнений и страхов.

На мгновение воцарилась абсолютная, благоговейная тишина. Даже привычный шум леса стих. Весь мир, казалось, замер, наблюдая за этим актом двойного зажжения: огня Яви (от Фёдора) и огня Грани (от Агафьи).

И тогда из самого сердца костра, из того места, где сплелись два пламени, раздался звук. Не треск. Чистый, высокий, поющий звук, похожий на удар по хрустальному колоколу или на звон натянутой до предела струны. Он прокатился волной по поляне, и каждый почувствовал, как внутри него что-то откликнулось, очистилось, настроилось.

Костёр горел. Но это был уже не просто праздничный огонь. Это была гигантская свеча, зажжённая на алтаре мира. Сигнал. И призыв. Очищение началось.

Жар от купальского костра был теперь не просто физическим явлением. Он был живым полем, пульсирующей стеной энергии, разделяющей поляну на «до» и «после». Когда первые пары, взявшись за руки, с визгом и смехом разбежались и перелетели через золотую реку пла-

мени, это было уже не просто развлечение. Это был обряд инициации для молодых, испытание на чистоту помыслов и удачу.

Матвей подошёл к огню не как к стихии, а как к инженерной задаче. Он отмерил шагами расстояние, оценил высоту и плотность языков пламени в самом узком месте. Его ум выстроил идеальную параболу. Разбег, толчок, полёт – всё было рассчитано. Он прыгнул легко, высоко и аскетично, поджав ноги, будто перепрыгивал через ручей. В момент, когда тело его было в наивысшей точке над самым жаром, он почувствовал не ожог, а гулкое давление, будто пролетал сквозь невидимый, упругий барьер. И в ушах на миг пронеслись не голоса, а шёпот на забытом языке – отрывистый, как скрежет камней. Он приземлился чисто, на обе ноги. Физически он преодолел огонь. Но ощущение было, что он прошёл сквозь фильтр, и что-то легкое, наносное, осталось по ту сторону.

Артём был его полной противоположностью. Он не рассчитывал. Он бросал вызов. Собрав вокруг себя зрителей, он отошёл дальше всех, разбежался с молодецким гиком и прыгнул не вверх, а в длину, стараясь провести над пламенем как можно дольше. Он парил, раскинув руки, и на лице его была лихая, вызывающая улыбка. Кончик его сапога чиркнул по самому верху огня. Не обжёгся, но пламя на миг облизнуло кожу, оставив не ожог, а ледяное, колкое ощущение, как от прикосновения крапивы из мира снов. Он приземлился с грохотом и победным возгласом, но в его глазах, обращённых к Матвею, читался не только торжество, а вопрос: «Видал?». Он не прошёл очищение. Он испытал огонь на прочность, и огонь оставил на нём свою отметину – отметину дерзости, которая могла обернуться и страстью, и бедой.

А Марфа стояла в стороне. Для неё прыжок был не соревнованием и не вызовом. Это был разговор. Она смотрела в само нутро костра, туда, где пламя было не жёлтым, а почти белым. И она видела. Не галлюцинации, а проявления сути. В переливах огня мелькали лица – то старые, морщинистые, с глазами-озёрами, то молодые, искажённые гримасой тоски. Всполохи складывались в узоры – точь в точь как на вышивках Агафьи и на отцовских чертежах. Она видела, как в огне сгорают не солома и дрова, а сгустки чего-то чёрного, вязкого – страхи, обиды, болезни, которые люди мысленно вложили в Морену. Огонь пожирал их с тихим, удивительным шипением.

Её охватил не страх, а благоговейный ужас. Это было слишком реально, слишком огромно.

Тёплое, сухое прикосновение легло ей на спину. Агафья стояла сзади.

– Не бойся, – сказала старуха, и её голос прозвучал прямо в сознании, заглушая гул огня. – Его сила тебя не тронет. Ты не для очищения прыгаешь. Ты – для знакомства. Чтобы он тебя узнал. Чтобы ты почувствовала его норы. Иди. Он ждёт.

Марфа глубоко вдохнула. Она не стала разбегаться. Она подошла вплотную к краю жара, который уже не обжигал кожу, а вибрировал ей навстречу, как магнит. Она закрыла глаза. Не для того, чтобы не видеть, а чтобы лучше чувствовать. Она вспомнила холод своего венка, плывущего против течения, и тепло голоса Прасковьи. Она собрала воедино все свои «инструменты» – знание трав, песен, узоров.

И шагнула. Не прыгнула. Шагнула в огонь.

В тот миг, когда её нога должна была коснуться пламени, оно... расступилось. Не погасло, а образовало арку, туннель из жидкого золота и тишины. Она прошла сквозь него шагом. Не было жара. Было ощущение прохождения сквозь тихую, тёплую, плотную стену, словно её обняли и пропустили сквозь себя мириады невидимых существ. Внутри этого мгновенного туннеля звуки поляны исчезли. Она слышала только биение своего сердца и далёкий, как эхо, звон – тот самый, что родился при зажжении.

На другой стороне она открыла глаза. Ни одна искорка не тронула её платья. Она обернулась. Костёр бушевал по-прежнему, и Артём уже тянул через него с визгом какую-то девушку. Но для Марфы он теперь был не просто костром. Он был... собеседником. Сущностью. Она прошла сквозь него, и он принял её, узнал её особую природу.

Агафья, наблюдающая с того же места, кивнула, и в её глазах блеснуло что-то вроде гордости. Марфа не просто прыгнула. Она заключила договор. Огонь признал в ней не просто деревенскую девку, а Хранительницу узоров, ту, что слышит шёпот земли. И это признание, это тайное знание, было теперь её щитом и её величайшей ответственностью. Она прошла не испытание. Она прошла посвящение.

После прыжков через костёр, когда пламя стало оседать, уступая тьме место в центре поляны, началась вторая часть мужского ритуала – поиск цветка папоротника. По преданию, тот, кто найдёт в купальскую ночь его огненный цвет, обретёт мудрость, силу и сможет видеть сквозь землю клады. Все знали, что это сказка. И все – в глубине души – надеялись, что в эту ночь сказка может оказаться правдой.

Парни собирались кучкой на краю поляны, у самой стены леса. Их смех был громче и резче, чем требовалось, – чтобы заглушить внутреннюю дрожь. Они хлопали друг друга по спинам, обменивались похабными шутками про то, что «найдем не цветок, а медведицу с медвежатами», и запасались факелами, выдернутыми из догорающего костра.

– Ну что, учёный, с нами? – крикнул Артём, обращаясь к Матвею. В его руке факел плясал, отбрасывая на его насмешливое лицо прыгающие тени. – Или будешь тут с бабами сидеть, узоры на углях разглядывать?

– Пойду, – коротко бросил Матвей. Его тянуло не за кладами, а за тайной. Он хотел проверить лес. Понять, изменился ли он, как изменилась река и огонь. Это был исследовательский зуд.

Артём возглавил поход. Для него это была авантюра, весёлое и немного опасное приключение, которое потом станет темой для хвастовства у кабака. Он громко декламировал, пародируя старинные заговоры: «Цветочек аленький, покажись личиком, а не покажешься – мы тебя дымом выкурим!». Его смех звенел фальшью, но парни подхватывали, создавая видимость братства и бесстрашия.

Они уже готовы были ринуться в чёрную чашу, туда, где лес был гуще и страшнее, как того требовала легенда. Матвей сделал шаг в их сторону, но его взгляд на миг встретился с взглядом Агафьи.

Она стояла чуть поодаль, в тени, и её фигура почти сливалась с ночью. Но её глаза – два неподвижных янтарных уголька – горели в темноте. Она не кивнула. Не подозвала. Она просто медленно перевела взгляд с Матвея куда-то в сторону. И едва заметным, плавным движением руки, скрытым складками сарафана, указала.

Не в глухомань. Не туда, куда рвался Артём со своей ватагой.

Она указала вдоль опушки. На старую, почти забытую тропинку, что шла параллельно лесу, мимо задворков огородов и упиралась в тыльную сторону её собственной избы, в ту самую часть, что смотрела в лесную чащу. Это была не тропа в чащу. Это была тропа вдоль Грани.

Матвей замер. Разум подсказывал: идти с парнями – безопаснее, логичнее. Но что-то более глубокое, инстинкт ученика, доверившегося мастеру, заставило его замедлить шаг. Он сделал вид, что поправляет обувь, отстав от группы.

– Эй, Матвей, ты с нами или как? – донёлся голос Артёма уже из предлесья.

– Иду! – крикнул Матвей в ответ. – Вы идите прямо, а я... я тут краем пройду, посмотрю, нет ли его на опушке. Рациональнее же – площадь обзора больше.

Раздался взрыв хохота.

– Учёный! Конечно, «рациональнее»! Ищи своим умом, а мы пойдём духом! – прокричал Артём, и его голос стал быстро удаляться, растворяясь в гуле леса вместе со светом факелов.

Мгновение спустя Матвей остался один на тёмной опушке. Шум и свет праздника остались позади. Впереди лежала лишь узкая, тёмная полоска тропы, освещённая бледным светом ущербной луны. Он взглянул туда, куда указала Агафья. Тропа казалась не пустой. Воздух над ней слегка матерился, как над раскалённым камнем в зной. Он почувствовал не зов, а тихое ожидание.

Он сделал шаг на тропу. И тут же лес изменил звук. С той стороны, куда ушли парни, доносились их приглушённые крики и смех. А здесь, на тропе вдоль Грани, была иная акустика. Звуки поляны стихли, будто их приглушили ватой. Зато он с невероятной ясностью услышал, как шелестит каждая травинка под слабым ветерком, как скрипит старый сук на сосне, как где-то далеко, в глубине, вздыхает земля. Это был не поиск цветка. Это была экскурсия в само слушание.

Он пошёл, и с каждым шагом чувство присутствия усиливалось. Он не видел духов. Но он чувствовал, что его видят. Не враждебно. С любопытством. Как дикий зверь смотрит на осторожно проходящего мимо человека. Он шёл не в лес, а вдоль его кожи, и лес позволял ему это, наблюдая.

А где-то далеко в чаще внезапно взметнулся испуганный крик, тотчас заглушённый взрывом нервного смеха. Артём и его компания столкнулись с чем-то, что заставило их по-настоящему испугаться. Матвей остановился, прислушался. Но Агафья указала ему сюда. Значит, здесь – важнее.

Он продолжил путь, и вскоре впереди, в конце тропы, показалась знакомая тёмная громада избы Агафьи. И тут его взгляд упал на землю у самого края тропы, там, где лесная трава сходилась с луговой.

Там, в тени старого вяза, лежало небольшое, призрачное свечение. Не огонёк, а скорее сгусток лунного света, принявший форму. Очертаниями оно напоминало причудливый, сложный цветок с лепестками, которые казались то перьями, то языками холодного пламени. Оно

не светило, а впитывало в себя весь доступный свет, делая вокруг себя темноту ещё гуще. Цветок папоротника. Или его иллюзия, рождённая самой Гранью в эту ночь.

Матвей не двинулся, чтобы сорвать его. Он понял. Это не клад и не источник силы. Это – знак. Подтверждение. Маркер места. Агафья не послала его за сказочным богатством. Она послала его к самой Грани, чтобы он увидел: она здесь. Она реальна. И она... цветёт. Иногда. Для тех, кто идёт не напролом с криком, а тихо, вдоль неё, прислушиваясь.

Он стоял и смотрел на призрачный цветок, зная, что он исчезнет с первым лучом солнца или с его шагом вперёд. Он не нашёл мудрости, чтобы видетьклады. Но он нашёл нечто большее – указание на саму карту, на которую теперь предстояло нанести путь. И этот путь лежал не в глубь чащи, куда рвался Артём. Он лежал вдоль этой самой, тонкой, цветущей в ночи Грани. Прямо к тёмному лесу за домом Агафьи.

Полночь. Это слово прозвучало не с колокольни – колоколен в Ольховке не было. Оно наступило само, как физическое ощущение. Воздух сгустился до состояния мёда, тяжёлого и звонкого. Толпа на поляне растаяла, унося с собой остатки шумного веселья и приглушённые разговоры. Костёр горел багровыми углями, которые, казалось, смотрели в небо слепыми, красными глазами.

К реке, к тому самому месту, где уплыл венок Марфы, спустились только пятеро. Мужское, шумное начало отошло. Настало время женской тишины, глубинной и созидательной.

Агафья, Прасковья, Анисья с крепко спящим на её груди младенцем и Марфа. Они стояли босиком на прохладном песке, и вода Сновки была теперь не зеркалом, а чёрной, бездонной дверью. Тишина была настолько полной, что слышно было, как во младенце бьётся сердце.

Первым делом – роса. Не простая утренняя, а купальская, собранная с листьев тех самых, заговорённых трав. Прасковья вынесла небольшую берестяную чашу. Роса в ней не была водой. Она была серебристой субстанцией, мерцающей собственным, тусклым светом. Она была холодной, но от неё не шёл озноб, а ощущение кристальной чистоты.

Прасковья, держа чашу, начала петь. Это была не та песня, что водила хоровод. Это было напевное бормотание, колыбельная для самой ночи, благословение для воды, ставшей в эту минуту Вратами. Её голос, лишённый былой мощи, приобрёл прозрачность и хрупкость старинного стекла.

Прасковья, на одном выдохе, почти шёпотом:

*Спи, водица, не волнуйся,
Чёрный свой лик прикрывай.
Прими росу, сестрицу-душу,
С неба данную звездой.*

*Пусть дитя, что спит без страха,
Снам твоим приснится,
А та, что ищет путь во мраке,
В отражении твоём причастится.*

Припев, который пели все, вкладывая в него своё:

*И-сху-ти-на, и-сху-та...
Мост из света, нить злата...
Что пришло – умойся,
Что уйдёт – простись...*

Прасковья, с нарастающей, но тихой силой:
*Дай пройти тому, кто должен,
Дай вернуться, кто зашёл.
Держи берег наш незыблем,
А чужой – пусть будет гол.*

*И-сху-ти-на, и-сху-та...
Мост из света, нить злата...
Лёд в груди, огонь в уста,
В эту ночь – чиста.*

Пока лился этот напев, Анисья первой наклонилась. Она зачерпнула ладонями росу и умыла личико спящего младенца. Капли, словно жемчужины, скатились по его щекам, но он не проснулся, лишь глубже всхлипнул во сне. Это было благословение на жизнь, защита от всего, что может прийти из тёмной воды.

Прасковья умыла своё морщинистое лицо, смывая усталость долгих лет и этой ночи.

Марфа умылась, и роса оказалась не просто холодной. Она была живой. Она впитывалась в кожу с ощущением покалывания, будто тысячи иголок света входили в неё, прочищая не только лицо, но и внутреннее зрение. Мир после этого стал чуть чётче, чуть более открытым.

Последней подошла Агафья. Но она не стала умываться. Она достала из складок одежды короткую, толстую свечу из жёлтого воска. Без слов, она поднесла её к тлеющему угольку, принесённому с костра в глиняном горшочке. Свеча загорелась ровным, неподвижным пламенем.

Агафья медленно опустилась на колени у самой кромки воды. Все замерли. Она протянула руку со свечой над чёрной гладью. И опустила её так низко, что кончик пламени почти коснулся воды.

И тогда произошло чудо. Пламя не погасло. Оно отразилось. Не просто блик. В чёрной, словно маслянистой воде, вспыхнул второй, абсолютно похожий столбик огня, идущий из глубин навстречу настоящему. Они соединились в месте прикосновения к воде, создав двойной, дрожащий, золотой мост между миром над водой и миром под ней.

Агафья не отрывала глаз от этого зрелища. Её лицо было каменным. Она смотрела сквозь мост, в самую его середину, будто пытаясь разглядеть что-то в той, подводной его половине. И её губы, поблёкшие и сухие, шевельнулись:

– Мост стоит, – прошептала она, и слова упали в воду, не вызвав даже ряби. – Но шаток.

Она подняла свечу. Отражение в воде исчезло мгновенно, будто его и не было. Но впечатление осталось. Золотой мост, дрожащий под невидимой ношей. Мост между Явью и Навью, который в эту ночь был явлен зримо, но оставался опасным и ненадёжным.

Агафья задула свечу. Дымок от неё поднялся не вверх, а пополз по воде тонкой, сизой змейкой, прежде чем раствориться. Ритуал был окончен. Они благословили воду, укрепили берег, но также и увидели уязвимость Грани. Ночь сделала своё дело. Она показала силу, красоту и хрупкость мира.

Настал кульминационный момент очищения. Угли костра, уже потерявшие яростную силу, ждали последней жертвы. Парни, воодушевлённые походом в лес, из которого вернулись чуть тише и бледнее, с гиканьем и грубыми шутками обступили Морену. Соломенное чучело, уродливое и безглазое, качалось на своём крепком, выверенном Матвеем каркасе, будто в последней, немой мольбе.

– Раз! Два! Взяли! – скомандовал Артём, и десяток рук впились в жерди. Чучело оторвалось от земли легко, слишком легко, будто было полым. С грохотом, смехом и рёвом его понесли к пылающему очагу.

– Гори, хвороба! Гори, недоля! Гори, всё худое! – подхватила толпа, и крик был единодушным, яростным, очистительным. Это был катарсис.

Они раскачали и швырнули Морену прямо в сердцевину углей. Солома встретила жар с сухим, ядовито-радостным Ш-Ш-Ш-УХОМ и вспыхнула мгновенно. Оранжево-жёлтое пламя обволокло фигуру, и на миг всё шло по плану: горело чучело, символизирующее зло.

Но этот миг длился одно дыхание.

Пламя схлопнулось. Не погасло – а именно сжалось, сгустившись вокруг чучела в неестественно плотный, сине-багровый шар. И в этом шаре солома не просто горела – она скручивалась, корчилась, образуя на секунду не человеческий силуэт, а нечто иное.

Очертания были скрюченные, неестественные. Длинные, изломанные «конечности», больше похожие на сучья или клешни. Горб. Что-то, отдалённо напоминающее опущенную, безглазую голову с разинутой, беззвучно кричащей пастью. Это была не тень и не игра света. Это было отрицание формы, злая пародия на живое, выжженная на сетчатке глаза за доли секунды.

И звук. Не треск горения. Из самого центра огненного шара вырвался тихий, противный, пронзительный визг. Он не был громким, но он резал – не уши, а самое нутро. Звук тлеющей плоти, лопающихся пузырей воздуха в гниющей древесине и... безмолвного отчаяния. Он длился мгновение и оборвался, будто его горло перерезали.

Пламя снова взмыло обычным жёлтым цветом, пожирая уже обычную, ничем не примечательную солому. Но было поздно.

Народ замолчал. Полная, оглушающая тишина. Не благоговейная, как у воды, а пришибленная, недоумевающая. Смешки застряли в глотках. Широко раскрытые глаза, полные

не праздничного ужаса, а настоящей, ледящей непонятности. Что это было? Обман зрения? Коллективный сон? Но визг... его все слышали.

В этой всеобщей немоте, с края поляны, донёлся низкий, хриплый голос, похожий на скрежет железа по камню. Это был Кузьма. Он стоял в отдалении, в тени, его мощная фигура была неподвижна, руки скрещены на груди. Он не смотрел на костёр. Он смотрел сквозь него, в пространство за ним, в тёмную прорву леса.

– Не так горит, – проскрипел он, и слова падали, как раскалённые гвозди, в тишину. – Не так.

Он медленно покачал головой, и при свете догорающего костра его глаза – обычно тёмные, угольные – вспыхнули. Не отражением пламени. Изнутри. Короткой, яростной искоркой багрового света, точно в его черепе тлел кусочек той же адской стали, что он когда-то влил в нож.

– Воздух сосёт, – добавил он ещё тише, но так, что услышали стоящие ближе всех. – А не светит.

И в этих словах была вся суть. Огонь очищения должен был излучать, выжигать скверну светом и жаром. А этот огонь... вбирал. Он высосал из брошенного в него символа зла не абстракцию, а какую-то концентрированную, уродливую суть, и на мгновение явил её миру, прежде чем переварить в своих недрах. Он не испепелил. Он показал аппетит того, что на другой стороне. И показал, что форма, которую они создали, оказалась слишком хорошим сосудом – она на миг удержала, сфокусировала эту суть, позволив ей проявиться.

Кузьма стоял, как скала, но его напряжение было читаемо в каждой линии тела. Он, как и Агафья, видел не ритуал. Он видел диагностику. И диагноз был неутешительным. Грань не просто истончилась. Она стала проницаемой в обе стороны. Его кузница, его якорь Яви, теперь чувствовал не просто давление, а обратную тягу. Воздух сосал. И Кузьма знал: если тяга усилится, она начнёт вытягивать из мира не метафоры, а самое настоящее – тепло, жизнь, саму прочность вещей.

Он обменялся взглядом с Агафьей через всё расстояние поляны. Миг. Но в нём был целый диалог: Видела? – Видел. Рушится? – Шатко. Скоро? – Скоро.

Веселье было «мертво». Его добил визг из огня и тяжёлое молчание Кузьмы. Люди расходились не кучками, не переговариваясь, а поодиночке, торопливыми, крадущимися шагами, будто боялись привлечь внимание чего-то, что теперь витало в ночном воздухе. Костёр догорал, превращаясь в груды багровых, слепо взирающих углей, которые уже не грели, а словно высасывали последнее тепло из окружающего пространства.

Марфа и Матвей стояли у самой воды, плечом к плечу, не в силах оторваться от чёрной глади реки, которая теперь казалась не водной преградой, а открытой раной в мире. Шум уходящей толпы таял за их спинами. И в этой наступающей тишине, густой как смола, они увидели.

На том берегу, в чаще плакучих ив, чьи ветви свисали до самой воды, как спутанные космы, что-то зашевелилось. Не ветер. Ветер стих. Из тени, густой и непроглядной, выплыла фигура.

Она была высокой, неестественно высокой, и тонкой, как обгоревшая лучина. Её белое одеяние не было тканью – оно струилось, как молочный туман, обволакивая контуры, которые казались то женскими, то просто продолжением ночного мрака. Она не шла. Она скользила над самой землёй, не касаясь её, и от её движения по воде расходилась не рябь, а лёгкая, мертвенная зыбь, заставлявшая отражение звёзд гаснуть.

И тогда она повернула голову.

Из-под водопада чёрных, слипшихся от влаги волос показалось лицо. Бледное, как лунный свет на известняке, оно было искажено не злобой, а застывшим, абсолютным, беззвучным ужасом. Рот, неестественно широко растянутый, был чёрной дырой, из которой, казалось, только что вырвался тот самый визг, что слышали из костра. А глаза...

Глаз не было. Там, где должны были быть глаза, зияли пустые, угольные впадины, глубокие, как колодцы в забытой деревне. Они не смотрели – они всасывали взгляд, тянули в свою бездонную темноту, суля не смерть, а что-то хуже – вечное падение в немое отчаяние.

Это была Мавка. Не кокетливая русалочка из сказок, а сама суть утопленницы, дух, рождённый из ледяного ужаса последнего вдоха под водой, из тоски по невозвратному солнцу. Она не должна была являться так явно. Её удел – тихий шёпот в камышах, краем глаза мелькнувшая тень. Но эта ночь стёрла все правила.

Первобытный, животный ужас сковал близнецов. Он был сильнее разума, сильнее любопытства. Он сжал их глотки ледяным кольцом, выгнал из груди воздух. Это был страх перед абсолютно Чужим, перед тем, что нарушало все законы их мира, плоти и здравого смысла.

И всё же, Марфа, преодолевая паралич, который сковал всё её тело, сделала шаг. Не вперёд к ужасу, а сквозь свой собственный страх. Её двинула не смелость, а та же сила, что вела её венок против течения – необходимость понять.

Мавка, увидев это движение, замерла. Её страшная, безглазая маска была обращена прямо на них. Затем, медленно, будто рука была сделана не из плоти, а из того же тягучего, бледного тумана, она подняла руку. Длинные, неестественно тонкие пальцы, похожие на сломанные ветви, вытянулись.

И указала. Не на них. Не угрожающе.

Её палец был направлен вверх их голов, через реку, через поляну, прямо в самую гущу тьмы – туда, где за спинами разошедшихся людей стоял дом Агафьи, а за ним начинался дремучий, молчавший теперь лес.

Затем фигура начала растворяться. Не исчезать, а именно терять форму. Белое одеяние смешалось с поднимающимся от воды холодным туманом, страшное лицо расплылось, как отражение в помутившейся воде. Чёрные глазницы погасли последними, будто два уголька, утонувшие в молоке. Через мгновение на том берегу снова колыхались лишь ивы, и лишь смут-

ное ощущение присутствия висело в воздухе, как запах речной тины и промозглой, забытой склепом сырости.

Тишина, наступившая после, была абсолютной. Не было даже сверчков. Музыка мира умолкла. Все, даже не видевшие явственно, инстинктивно чувствовали: праздник удался. Слишком удался. Они не просто чувствовали границу. Они растормошили её. И теперь было ясно – граница, та самая тонкая паутина между «здесь» и «там», оказалась не просто тонкой. Она была прорвана. И что-то... нечто, указующее бледным пальцем из иного мира... уже не просто перешло её. Оно показало дорогу.

И эта дорога вела не куда-то в абстрактную даль, а прямо в сердце их мира, в глушь за домом самой Агафьи.

Купальская ночь кончилась.



Глава 3. Человек из шкуры

Часть 1: Иной мир

Три дня минуло с Купальской ночи, но Ольховка никак не могла отдышаться.

Праздник удался – так говорили вслух. Костёр жёг ярко, венки уплыли далеко, урожай обещал быть щедрым. Вслух говорили это всё громче и настойчивее, будто пытались убедить самих себя. Но стоило голосам утихнуть, как в паузах проступало иное: тревога, густая и липкая, как утренний туман над болотом.

У колодца бабы замирали на полуслове, когда мимо проходил кто-то из ходивших в лес. У кабака мужики сбивались в кучки, но пили молча и расходились по одному. Дети, обычно носящиеся по улицам дотемна, жались к избам, и даже самые отчаянные сорванцы обходили стороной опушку.

Матвей и Марфа чувствовали это кожей. Воздух в деревне стал другим – не свежим, не летним, а каким-то осевшим, будто перед грозой. Но гроза не приходила. Небо оставалось ясным, солнце – нещадно ярким, и от этого несоответствия света и тревоги становилось только хуже.

Лидка, вернувшись от ручья с пустым ведром, сказала матери, что вода «слушает». Прасковья перекрестилась и велела дочери сидеть дома.

Анисья, выйдя на рассвете во двор, нашла на пороге мёртвую сороку. Птица лежала на спине, лапки её были скрючены, а в раскрытом клюве застряло чёрное перо, не птичье – другое, словно обугленное изнутри. Анисья бросила его в печь, но полдня не могла согреться.

Кузнец Кузьма, обычно несловоохотливый, стал совсем нем. Он ковал с утра до ночи, но не брал заказов. Только смотрел на свою наковальню тяжёлым, выжигающим взглядом и бил молотом так, что звон стоял над всей деревней. Артём, подходя к кузнице, замирал у порога и уходил, так и не войдя.

Но главная примета была тихой и страшной.

Дед Фёдор не вернулся из леса.

Он ушёл на второй день после Купалы – спокойно, как всегда, с котомкой за плечами и посохом в руке. «Проведаю сторожку, гляну, не повадился ли медведь к малиннику», – бросил он соседке. И ушёл.

Прошло два дня. На третий – его пёс Лыско, не евший и не пивший, лёг у калитки и завыл. Не на луну. В голос. Тягуче, жалобно, по-человечьи тоскливо.

Мужики собрались было идти, но как-то не спешно. Дела, сенокос, да и Фёдор – лесник бывалый, мало ли что...

Матвей и Марфа сидели на крыльце опустевшего дома Веденских.

Перед ними лежали немые свидетели Купальской ночи: подсохший, но всё ещё хранящий форму особый венок Марфы, который она каким-то чудом выловила из реки наутро (он прибил к берегу прямо у их ног, будто его вернули), и обгоревший уголёк из костра, который Матвей подобрал на пепелище – тот всё ещё слабо пульсировал теплом, не желая остывать.

– Это был знак, – тихо сказала Марфа, не отрывая взгляда от венка. Серебряная нить в нём потускнела, но не погасла совсем. – Она не хотела нас напугать. Она показывала.

– Что? Что она показывала? – Матвей сжал уголёк в ладони, не чувствуя боли. – Куда? Зачем?

Марфа молчала. Она вспоминала бледный палец, вытянутый в сторону леса. Вспоминала чёрные провалы глазниц, в которых не было злобы, но было отчаяние, такое глубокое, что его невозможно было выносить. Вспоминала визг из костра, превративший веселье в ледяную тишину.

– Я не знаю, – призналась она наконец. – Но Агафья знает.

Они переглянулись. В этом взгляде было всё: страх перед ответом и понимание, что не знать – уже невозможно.

– Идём, – сказал Матвей, поднимаясь.

Дом Агафьи встретил их открытой дверью.

Это само по себе было знаком. Старуха никогда не держала дверь распахнутой – берегла тепло, берегла тайны. Но сейчас створка была откинута настежь, и из тёмного проёма тянуло не холодом, а густым, терпким запахом трав, смешанным с дымом и ещё чем-то неуловимым – древним, сухим, как пергамент.

Агафья сидела за столом, но не прядла и не раскладывала снадобья. Перед ней лежал развёрнутый, выцветший лоскут холста, испещрённый выцветшими знаками и линиями. Карта. Не тех земель, что вокруг Ольховки, – других.

Она не обернулась на их шаги.

– Ждала вас, – сказала она ровно, без тени удивления. – Третьего дня ждала. Вчера ждала. Сегодня – вы пришли. Садитесь.

Голос её был не старческим, дрожащим. Усталым.

Таким голосом говорят люди, которые слишком долго несли непосильную ношу и вдруг поняли, что донесли до края.

Марфа и Матвей сели на лавку, плечом к плечу. Агафья медленно перевела взгляд с карты на них. Её глаза – обычно мутные, выцветшие – сейчас были ясными, янтарными, как у той, ночной, совы. И в них стояла такая глубина, что у Марфы перехватило дыхание.

– Спрашивайте, – приказала Агафья. – Всё, о чём молчали три дня. Всё, чего боялись. Спрашивайте – я отвечу. Ибо больше ждать нельзя. Время, которое я вам дала, вышло.

Матвей сглотнул. Марфа стиснула в руке потускневший веноч.

– Что это было? – выдохнула она. – В костре. И на том берегу. Она... мавка? Дух? Почему она смотрела на нас? Почему показывала?

Агафья не отвела взгляда.

– А ты, Матвей? – спросила она тихо. – Что видел ты? Не спрашивай, молчи. Знаешь ведь. Чувствуешь.

Матвей медленно разжал ладонь. Обгоревший уголёк лежал на его руке, пульсируя ровным, глухим жаром.

– Это не всё, – сказал он хрипло. – Не только ночь. Лес. И вы... – он поднял глаза на старуху, и в них был не вопрос, а требование правды. – Кто вы, Агафья Петровна? На самом деле?

В избе повисла тишина. Такая же густая, как у реки в полночь.

Агафья медленно, с усилием поднялась из-за стола. Её тень на стене – Марфа готова была поклясться – на миг шевельнулась сама по себе, вытянулась, стала острее и выше, чем полагалось человеческой.

– Кто я? – переспросила старуха, и в голосе её проступила древняя, скрежещущая нота, звук камня, трущегося о камень. – Я та, кого вы звали бабкой. Я та, кто сторожит ваш сон от той стороны. Я та, кто держит Порог, пока он не рухнул вам на головы.

Она шагнула к ним, и свет лучины упал на её лицо иначе – высветил не морщины, а глубокие, старые шрамы у висков, скрытые обычно седыми прядями.

– Меня звали по-разному. В разных веках, в разных землях. Но здесь, в Ольховке, я – Агафья. И я – последняя стража этого Порога.

Она опустилась на лавку напротив них, и враз стала просто усталой, очень старой женщиной.

– А все сказки, что я вам рассказывала... – её голос дрогнул. – Это не сказки были, дети. Это летопись. Память. Правда, которую я вкладывала в вас по капле, год за годом, чтобы, когда придёт срок, вы не ослепли.

Она протянула руку и коснулась венка Марфы, потускневшей серебряной нити.

– Мавка указала верно. Туда ушли ваши родители. Туда, где грань истончилась до паутины. Туда, где Навь входит в Явь, и никто не держит дверь.

Агафья замолчала. Её рука всё ещё лежала на венке, на потускневшей серебряной нити, но взгляд ушёл куда-то далеко, сквозь стены избы, сквозь ночь, сквозь саму ткань времени.

– Садитесь, – сказала она тихо. – Не на лавку. На пол. Ближе к земле. Она сейчас говорит громче меня.

Марфа и Матвей послушно сползли с лавки, сели на холодные, тёсанные доски пола. Агафья опустилась рядом с ними – тяжело, с хрустом в коленях. Пламя лучины дрогнуло и замерло, будто тоже приготовилось слушать.

– Мир, в котором вы жили всю жизнь, – начала Агафья, и голос её был ровен, как старая, утоптанная тропа, – не единственный. Он даже не главный. Он – середина. Стебель.

Она провела пальцем по половицам, чертя невидимую линию.

– Внизу, под нами, глубже корней и мёрзлой глины, лежит Навь. Навь – это память. Тени ушедших, души, что не родились вновь. Духи рек, камней, деревьев – тех, что старше человека. Там нет времени, как вы его понимаете. Там всё течёт вспять, по кругу, или стоит на месте – как угодно. Там – изнанка нашего мира.

Она помолчала.

– Вверху, за облаками, за звёздами, за самим небом, – Правь. Обитель законов. То, что было, есть и будет в самом чистом, неискажённом виде. Там живут боги. Не старики на облаках с посохами, а сути – Сварог, Макошь, Перун, Велес. Силы, что пряли нить мира и следят, чтобы она не путалась и не рвалась. В Прави нет жалости и нет зла. Там нет ничего, кроме порядка.

Она подняла руку, развела ладони – одну вверх, другую вниз.

– И между ними – Явь. Мы. Лес. Река. Поле. Ваши избы, ваши печи, ваши сны по ночам. Явь – это дитя Прави и Нави, их спор и их союз. В Прави рождается закон: «зерно должно прорасти».

В Нави спит память: «зерно было травой и станет травой». А в Яви – сам колос. Мы. Живые. Сейчас.

Она свела ладони вместе, сплела пальцы в тугой, узловатый замок.

– Чтобы этот колос рос, нужна граница. Не стена, не частокол. Грань – это договор. Навь не лезет в Явь, Явь не тревожит Навь без нужды, а Правь смотрит, чтобы никто не нарушал меры. Так было тысячи лет. Так было, когда ваш пращур ещё по дереву лазил.

Агафья разжала пальцы. На ладонях остались красные полосы – так крепко она сжимала.

– А теперь – смотрите.

Она взяла со стола горсть сухой, рассыпчатой земли из берестяного туеска, высыпала на пол. Пальцем провела круг. Потом, сосредоточенно хмурясь, проделала в центре круга дыру – просто раздвинула землю в стороны.

– Это была Грань. Крепкая, ладная. А это...

Она развела руки, и края круга поползли, осыпаясь.

– ...то, что стало теперь.

Марфа смотрела на рассыпающуюся землю, и в груди у неё разрасталось холодное, тяжёлое понимание.

– Кто? – спросил он хрипло. – Кто это сделал?

Агафья покачала головой. Впервые за весь разговор в её лице проступила растерянность – не старческая, а та, что бывает у мастера, который видит сломанный инструмент и не понимает, откуда взялась трещина.

– Не знаю, – сказала она тихо. – Я Страж, я чую боль Порога, как свою. Но кто нанёс удар и чем... – она замолчала, сжала губы.

– Я не знаю, кто сломал дверь. Но я вижу, что она открыта. И через неё идёт не просто Навь. Идёт голод. То, что было заперто слишком долго. То, что забыло своё имя и свой договор. То, что теперь хочет не помнить, а брать.

Она перевела взгляд на Матвея.

– А ты, – сказала она тихо, – ты верил меньше всех.

Матвей вздрогнул. В голосе Агафьи не было укора. Только усталая констатация.

– Я знаю, – продолжала она. – Ты привык мерить мир ладонями, чертежами, железом. Если нельзя пощупать – значит, нет. Если нельзя разобрать на части и собрать снова – значит, сказки. Я не виню тебя. Таким тебя сделали твои родители. Не нарочно, нет. Просто передали по крови эту ненасытную жажду – понимать. До винтика. До самой сути.

Она помолчала, глядя на него из глубины своих янтарных глаз.

– Только вот, Матвей, до самой сути ты как раз и не добирался. Потому что суть – она не в чертежах. Не в узлах и не в прочности сплавов. Суть – в связях. А связи не увидишь под лупой и не выкуешь молотом. Их можно только принять. Поверить в них. И тогда они начнут работать – на тебя, через тебя, в тебе.

Она протянула руку и коснулась его груди, туда, где под рубахой билось сердце.

– Ты всё ждал доказательств. Ну вот они, – она обвела взглядом избу, темнеющее окно, сжавшиеся фигурки близнецов на полу. – Мавка на берегу. Визг в костре. Твой венчик, Марфа, плывущий против течения. Это достаточные доказательства, Матвей? Или тебе нужно, чтобы Грань рухнула окончательно и Навь хлынула в Ольховку половодьем, прежде чем ты согласишься?

– Я... – начал он и осип. Сглотнул. – Я не знал. Думал, это... ну, совпадения. Оптические обманы. Нервы. Праздник, все напуганы, вот и...

– Вот и увидели, – закончила Агафья. – Потому что оно есть. Было всегда. И ты тоже видел. Всю жизнь видел, но называл другими словами. Тени в углах – игрой света. Шорохи в лесу – ветками. Чутьё, которое подсказывало, куда нельзя ходить, – интуицией. Ты знал, Матвей. Ты просто не хотел верить.

Она отняла руку от его груди.

– Теперь придётся.

Они вышли на крыльцо, потому что в избе стало нечем дышать.

Ночь обступила их плотной, влажной тишиной. Небо было беззвёздным – не затянутым тучами, а странно пустым, будто кто-то снял с него привычную россыпь огней и забыл вернуть. Ольховка лежала перед ними – тёмные сгустки изб, редкие жёлтые квадраты окон, тропинки, убегающие в никуда.

Всё было тем же самым. И всё было чужим.

Марфа сидела, обхватив колени руками, и смотрела прямо перед собой. Она не плакала – слёзы были бы слишком простым, слишком человеческим ответом на то, что обрушилось на них. Внутри неё было пусто и зыбко, как на только что замёрзшем пруду: одно неловкое движение – и лёд треснет, утянет в чёрную, ледяную воду.

Матвей молчал.

Его руки – всегда занятые, всегда что-то крутящие, измеряющие, поправляющие – неподвижно лежали на коленях. Он смотрел на Ольховку, на поля, на тёмную стену леса вдалеке, и ему казалось, что он видит её впервые.

Как он мог жить здесь столько лет и не замечать? Как мог ходить в лес, чинить заборы, ловить рыбу в Сновке – и ни разу не спросить себя: а что там, за этим? Кто дышит в чаще по ночам? Чьи глаза горят в темноте за околицей? Чей шёпот просачивается в сны?

Он всегда находил объяснения. Ветки. Игра света. Уставшие глаза. Теперь объяснений не было. Была только правда – тяжёлая, неудобная, не желающая укладываться в выверенные чертежи его разума.

– Знаешь, – тихо сказала Марфа, не оборачиваясь, – я всегда в них верила. В сказки. Не как в правду, а как... ну, как в красивые истории. Думала, Агафья их просто помнит. Все эти имена, обряды, песни. Думала, она – последняя, кто их не забыл.

Она помолчала.

– А она не помнила. Она жила в них.

Матвей не ответил. Он смотрел на лес и пытался представить, что там, за первыми рядами берёз, за оврагами и малинниками, за знакомой тропой, лежит другой мир. Не за морями, не за тридевять земель. Рядом. Вплотную. Отделённый только тем, что Агафья назвала Гранью.

За их спинами скрипнула дверь. Агафья вышла на крыльцо, неслышно ступая босыми ногами по тёсаным доскам. Она не села, остановилась у перил, глядя туда же, куда смотрели они, – на тёмную стену леса.

Долго молчала. Тишина была тягучей, как мёд, и горькой, как полынь.

– Вы слышали про Фёдора? – спросила она наконец, и голос её был ровен, но под этой ровностью угадывалась такая усталость, что у Марфы защемило сердце.

– Только то, что он ушёл в лес и не вернулся, – ответил Матвей, не оборачиваясь. – Его пёс воет у калики третий день.

Агафья кивнула. Медленно, будто каждый кивок стоил ей сил.

– Дед Фёдор всегда перед базарным днём уходил в лес на пару дней для сбора ягод и грибов. Для старого лесника пропустить базарный день – неслыханно.

– В свете последних событий, сдаётся мне, его исчезновение не случайность. Продолжила Агафья.

– В лес не ходите, – сказала она. – Ни завтра, ни послезавтра, ни через седмицу. Лес теперь не тот, что был. Грань открылась, и по ту сторону не только духи – голод. То, что было заперто слишком долго. То, что забыло своё имя и свой договор. Оно ищет, чем насытиться. И человек для него – самая лёгкая добыча.

Марфа вздрогнула. Матвей сжал кулаки.

– А Фёдор? – спросил он глухо.

Агафья покачала головой.

– За Фёдора прошу у богов. Но если он ушёл туда, куда я думаю... Сами понимаете. Он лесник, он знает лес. Может, и выберется. А может...

Она не договорила.

– А родители? – выдохнула Марфа.

Агафья долго молчала. Потом повернулась и ушла в избу, не сказав больше ни слова. Дверь закрылась тихо, без скрипа.

Они остались одни.

Матвей повернулся к сестре. В свете тусклой луны его лицо казалось высеченным из камня – жёстким, решительным, чужим.

– Ты поняла? – спросил он шёпотом.

Марфа кивнула.

– Она не хочет, чтобы мы рисковали. Бойтся за нас.

– А мы не можем сидеть сложа руки, – закончил Матвей. – Фёдор там. Может, живой. Может, знает, куда дальше идти. К родителям.

Марфа сжала его руку.

– Мужики завтра с утра пойдут к сторожке. Искать его. Мы пойдём с ними. Тайком.

– А если найдут и отправят назад?

– Не отправят. Мы скажем... скажем, что хотим помочь. Что Фёдор нам как дед. Что не можем сидеть и ждать.

Матвей покачал головой.

– Не поверят. Пошлют обратно, ещё и Агафье нажалуются.

Марфа помолчала, потом посмотрела на брата с той тихой, упрямой твёрдостью, которая иногда просыпалась в ней.

– Тогда пойдём сами. Раньше них. На зорьке, чуть свет. Возьмём припасы, папин компас, мой дневник. И пойдём.

– В лес? Одни? – Матвей не верил своим ушам. – Ты слышала, что Агафья сказала? Что там голод, что там... и... мы ей обещали...

– Слышала, – перебила Марфа. – И именно поэтому мы должны идти. Если там правда так опасно, Фёдор не продержится долго. А он – наверняка знает дорогу, до Дубровки, а там и до Белого Бора.

Она встала, подошла к перилам, взглядываясь в темноту.

– Фёдор всю жизнь в лесу прожил. Он каждую тропу знает, каждый овраг. Если кто и может вывести нас к следующему месту – то только он. Но сначала его надо найти.

Матвей подошел к ней, встал рядом.

– Ты правда веришь, что он жив?

Марфа долго молчала.

– Не знаю, – сказала она наконец. – Но если есть хоть маленький шанс – мы должны попробовать. Ради него. И ради родителей.

Она повернулась к брату. В её глазах блестели слёзы, но голос был твёрдым.

– Мы пойдём утром. Вместе. И не оглянемся.

Матвей кивнул. Медленно, но твёрдо.

– Тогда надо собраться. И поспать хоть немного. Завтра тяжёлый день.

Утро встало над Ольховкой серое, непроглядное. Солнце, если оно и взошло, пряталось за плотной пеленой облаков, которая висела над самой землёй, как выдохшееся дыхание зверя. Роса на траве была не жемчужной, а мутной, тяжелой, будто ночь выплакала её неохотно, через силу.

Матвей проснулся раньше Марфы. Лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, и слушал, как колотится сердце. Оно колотилось не от страха – от решимости. Решение было принято, пути назад нет.

Он осторожно поднялся, стараясь не разбудить сестру. Подошёл к окну, выглянул на улицу. Ольховка ещё спала – ни огонька, ни дымка из труб, только где-то далеко, у околицы, заливался петух, но голос его звучал глухо, будто через вату.

Матвей посмотрел на свои руки. Пустые руки. С ними в лес не пойдёшь. Тем более в лес, который теперь – не лес, а Грань.

Он оделся быстро, почти беззвучно. Накинул куртку, сунул за пазуху отцовский компас. Взглянул на спящую Марфу – она свернулась калачиком, прижимая к груди сумку с дневником, и лицо её во сне было не детским, а напряжённым, будто она уже там, в чаще, ищет и не находит.

– Я скоро, – шепнул Матвей и выскользнул за дверь.

Кузница Кузьмы стояла на отшибе, у самого леса. В сером предутреннем свете она казалась не строением, а застывшим зверем – припала к земле, затаилась, ждёт. Из трубы не шёл дым – Кузьма ещё спал. Матвей знал это. Знал и то, где Кузьма прячет запасной ключ: под отставшим камнем у правого угла, где старый кузнец держал неприкосновенный запас угля.

Ключ был на месте. Холодный, тяжёлый, он словно нехотя отпер замок, и дверь в кузницу открылась с едва слышным скрипом.

Внутри было темно, но Матвей знал здесь каждый угол. Он зажёл припасённую с собой лучину и шагнул внутрь.

Воздух в кузнице был густой, спёртый, пахло железом, окалиной и остывшим углём. Тени метнулись по стенам, когда огонёк лучины качнулся. Матвей прошёл к верстаку, где Кузьма обычно оставлял готовые изделия. Топоры, ножи, серпы – всё это лежало на виду, привычное, обыденное.

Но Матвей искал не это.

Он помнил: у Кузьмы есть особый ящик. Не запёртый, но всегда стоящий чуть в стороне, на отдельной полке, куда мастер складывал вещи, которые не продавал, не показывал, а хранил для чего-то иного. Матвей видел его однажды, когда подавал Кузьме инструменты, и запомнил это место – высоко, почти под потолком, в тени балки.

Он подставил чурбак, встал на цыпочки и нащупал ящик. Тот поддался не сразу – будто не хотел открываться чужим рукам. Но Матвей потянул сильнее, и крышка поднялась.

Внутри, на потертом бархате, лежал нож.

Матвей замер. Луч лучины упал прямо на него, и на миг Матвею показалось, что нож вспыхнул – не отражённым светом, а собственным, глубинным, рождённым в самом металле.

Это было необычное оружие.

Клинок – длиной в полторы ладони, чуть изогнутый, сужающийся к острию. Металл его был странного, нездешнего цвета: не серебристый, не серый, а тёмно-сизый, с едва заметными золотистыми прожилками, бегущими от рукояти к острию, как тонкие жилы. На лезвии, если приглядеться, проступали узоры – не гравировка, а сама структура металла, застывшие разводы, похожие то на папоротник, то на языки пламени, то на чьи-то закрытые глаза.

Рукоять была обмотана тёмной, старой кожей, но не простой – под ней угадывалась кость. Белую, гладкую, с едва заметными порами. Чью? Матвей не решился думать. На торце рукояти тускло блестел камень – небольшой, тёмно-красный, как капля засохшей крови, опрaвленный в тусклое серебро.

Ножны лежали рядом – старые, потёртые, из толстой чёрной кожи, с металлическим наколочником и петлёй для ремня. На них тоже был узор – вытисненные круги и пересекающиеся линии, похожие на те, что Матвей видел на отцовских картах в месте, помеченном как «Белый Бор».

Матвей протянул руку. В тот миг, когда пальцы сомкнулись на рукояти, его пронзило. Не болью – холодом, мгновенным и острым, будто нож узнал его и проверил. Холод прошёл по руке, в плечо, в грудь, коснулся сердца – и отступил, оставив после себя странное, гулкое тепло.

В кузнице качнулись тени. Он не стал ждать, сунул нож в ножны, закрепил на поясе, спрятал под куртку. Закрыл ящик, поставил на место. Потушил лучину, закоптившуюся до чёрного уголька и выбежал из кузницы.

Марфа уже проснулась, когда он влетел в избу.

– Ты где был? – спросила она, вглядываясь в его бледное лицо. – Что случилось? Ты белый как мел.

Матвей перевёл дух. Расстегнул куртку, показал нож.

– В кузнице взял, – выдохнул он. – Пока Кузьмы нет. Надо же чем-то защищаться.

Марфа смотрела на нож, и в глазах её рос страх – не перед оружием, а перед тем каким-то светом, который исходил от него даже в полумраке избы.

– Матвей... – прошептала она. – Это... это не простой нож. Ты чувствуешь?

Он чувствовал. Нож словно пульсировал на поясе, в такт его сердцу, и эта пульсация была не чужой, не враждебной, а... ждущей. Будто нож знал, для чего его взяли, и одобрял.

– Неважно, – отрезал Матвей. – Собирайся. Уходим.

Они собрались быстро. Марфа надела сумку с дневником и травами, Матвей проверил компас, поправил нож на поясе, сунул за голенище сапога небольшой топорик – обычный, хозяйственный, без всякой магии.

На крыльце посидели молча, глядя на серое, непроглядное утро. Потом Марфа встала.

– Пора.

Они пошли к лесу. За спиной оставалась Ольховка – тихая, сонная, ещё не знающая, что двое её детей уходят в чащу, откуда не все возвращаются.

Часть 2: Волчий след

Первая половина пути была знакомой до боли. Тропа к Фёдоровой сторожке – как продолжение деревенской улицы. Но уже через час воздух изменился. Он не стал холоднее, но плотнее, будто в лесу перестали дышать, и теперь каждому звуку – щелчку ветки, крику сойки – было тесно. Солнечные пятна на земле казались неестественно яркими и резкими, а тени под елями – гуще и чернее чернил.

– Стоп, – Матвей замер. – Смотри. Ручей.

Ручей, который всегда пересыхал к июлю, бурлил молочно-белой, пенистой водой, пахнувшей не свежестью, а... мокрым мелом и старой медью.

Они перешли его по старому мостку, и лес за ручьем стал другим. Деревья стояли те же, но... под неправильным углом. Свет падал не сверху, а будто сбоку, откуда не могло быть солнца. Знакомые ориентиры – кривая сосна, валун-медведь – исчезли или стояли не на своих местах.

Они плутали. Компас Матвея (подарок отца) бешено вращался. Солнце на небе не двигалось, застыв в зените, хотя по часам должен был быть уже вечер. Они шли по кругу, снова и снова выходя к тому же самому поваленному дубу, у корней которого лежал... их собственный, нетронутый узелок с едой.

– Это не нормально, – сказала наконец Марфа, и голос её был странно спокоен. – Лес как будто не пускает. Или... заманивает.

Матвей почувствовал, как в нём просыпается не страх, а злость. На него, на его логику, навигацию, на расчёт, ничего не работало. Он закрыл глаза, выбросил из головы карты и компасы.

И, наконец, в сумерках, которые наступили внезапно, будто кто-то захлопнул ставень, они вышли.

Сторожка деда Фёдора, маленькая, из крепких плах, всегда такая ухоженная, стоял криво. Не покосилась, а будто вросла одним углом в землю, а другой приподнялась. Окна были чёрными, словно выжженными. Дверь... дверь была приоткрыта. Из щели тянуло запахом – не затхлостью, а диким звериным духом, смешанным со старой кровью и страхом.

– Фёдор Игнатъич? – тихо позвал Матвей.

В ответ – гулкая тишина.

Они осторожно вошли.

Хаос. Стол перевёрнут. Полка с посудой сметена на пол, глиняные черепки хрустели под ногами. Одеяло с кровати было сброшено и изодрано в ленты, будто по нему точили когти. Подушка лежала на полу, и из неё торчал комок серой, жёсткой шерсти. Всюду – ключья той же

шерсти. На полу, на столе, даже прилипшие к потолку, будто тут бушевала волчья метель. Но не было крови. Не было следов борьбы в человеческом понимании. Было ощущение преследования, паники...

Матвей поднял со стола дедов табакерку. Она была расколота пополам ровным сильным ударом, будто её сдавили в гигантских челюстях.

– Волки... не умеют так, – прошептал он, и в его голосе впервые зазвучал страх. – И шерсти... слишком много. С целой стаи.

Марфа стояла посреди комнаты, не двигаясь. Её лицо было бледным. Она смотрела не на беспорядок, а на узоры, которые складывала пыль и сор на полу. На тень от висящей лампы.

– Здесь не дрались, – сказала она голосом, лишённым колебаний. – Это не похоже на следы боя. Тут будто держали взаперти... но не волка, а зверя побольше.

На улице стемнело мгновенно. Лес вокруг завыл – не ветром, а множеством чужих, голодных глоток. Стало жутко. Возвращаться было самоубийством.

– Забаррикадируемся, – скрипуче сказал Матвей, и его руки уже действовали: тяжёлый сундук придвинули к двери, окошки закрыли ставнями на кованые засовы (спасибо Кузьме, он делал их на века). Он развёл в печурке крошечный огонь, используя обрывки одеяла и щепки. Свет был жалким, но он отгонял абсолютную тьму.

Они сидели спиной к спине на единственном уцелевшем стуле и на краю кровати. Шум за стеной то приближался, то отдалялся.

Иногда под самым окном раздавалось тяжёлое, влажное сопение и скребут когтей по брёвнам. Марфа тихо напевала обрывок колыбельной, которую пела Прасковья на Купалу. Она знала эти песни и верила что слова обладают силой. Матвей сжимал в руке увесистый обух топора, найденный под кроватью.

– Это не волки, – сказал Матвей в кромешной тьме, когда луна на миг выглянула и отбросила через щель в ставне полосу света на пол, усеянный шерстью.

– Это Лес, – ответила Марфа. – Лес, который знал деда Фёдора лучше всех. И который... по какой-то причине забрал его к себе.

Под утро, в сером, безрадостном предрассветном свете, они уснули на минуту тяжким, болезненным сном. И Марфе приснилось: она видит деда Фёдора. Он стоит на опушке, спиной к ним. Он оборачивается. Его глаза горят зелёным, лесным огнём. Он не говорит, а мычит, низко, по-звериному, и указывает рукой, поросшей шерстью, вглубь чащи.

Ночь в сторожке выдалась тяжёлой.
Первым проснулся Матвей..

– Марфа, – позвал он тихо. – Вставай. Надо осмотреться.

Она села на лавке, потирая затекшую шею. Лицо её было бледным, под глазами залегли тени. Но взгляд – ясный, собранный.

– Сначала двор, – сказала она. – И вокруг дома. Вдруг Фёдор где-то рядом... или что-то осталось.

Они вышли наружу.

Утро было серым, безрадостным. Туман висел над самой землёй, скрывая дальние деревья. Пахло прелой листвой и чем-то сладковато-гнилостным, будто лес начинал разлагаться заживо.

Матвей обошёл сторожку кругом. У задней стены, в высокой, мокрой траве, он нашёл посох Фёдора. Тот самый, черёмуховый, с которым старик всегда ходил в лес. Теперь он был разбит – переломлен почти пополам, будто кто-то с силой переломил его о колено. Верхняя часть с наверху валилась в стороне, нижняя – в луже мутной воды.

– Матвей, – позвала Марфа. – Смотри.

Она стояла у покосившегося сарайчика. Рядом с ним, на примятом мху, лежал берестяной кузовок, полный черники. Ягоды были свежими, упругими, будто их собрали только вчера. Рядом – россыпь белых грибов, аккуратно разложенных на сухой траве для просушки.

– Он собирал это, – тихо сказала Марфа. – В тот самый день. Или накануне. А потом...

Она не договорила. Потом случилось то, что случилось. И посох переломился. И кузовок так и остался стоять у сарая.

Матвей подошёл к тропе, что вела от сторожки в лес. Вчера, в сумерках, они не решились по ней идти. Теперь, при свете дня, он увидел, что трава на ней примята не зверем и не человеком – она была вдавлена в землю ровной, широкой полосой, будто по ней проползло что-то тяжёлое, бесформенное. А по краям – мелкие, глубокие ямки, словно от когтей.

– Мужики не пришли, – сказал он, не оборачиваясь.

Марфа поняла сразу.

– Заблудились. Лес не пустил.

Они помолчали. Где-то в чаще хрустнула ветка – далеко, но отчётливо. Лес слушал. Лес ждал.

– Надо починить дверь, – вдруг сказала Марфа. – Найдёшь инструменты?

Матвей кивнул. В сарайчике, среди старого хлама, он отыскал топор, молоток и ржавые гвозди. Дверь, покосившаяся от времени, поддалась не сразу, но он подбил петли, укрепил косяк, и она встала на место – кривовато, но плотно.

– Теперь я, – сказала Марфа.

Она достала из сумки дневник. Не открывая его, просто держа в руках, подошла к двери. Пальцы её коснулись шершавого дерева, и она замерла, прикрыв глаза.

– Что ты делаешь? – спросил Матвей.

– Помню, – ответила она. – Агафья показывала. Давно, когда я ещё не понимала зачем.

Она открыла глаза и начала чертить. Прямо на двери, обугленной веточкой, найденной в золе. Линии ложились ровно, уверенно, будто рука её делала это сотни раз.

Руны. Не те, что в книгах, не те, что на камнях, – другие, древние, текучие, похожие то ли на ветви деревьев, то ли на языки пламени. Они оплетали дверной косяк, спускались к порогу, поднимались к притолоке, создавая живую, дышащую сеть.

Когда последний знак лёг на дерево, Марфа заговорила.

Голос её был тихим, но в нём звучала такая сила, что у Матвея мурашки побежали по спине. Она не читала по бумаге – слова сами лились из неё, рождённые где-то глубоко внутри, в том месте, где хранились все Агафьины сказки, все песни Прасковьи, все названия трав и приговорки.

*– Огневица-сестрица, земляница-родимица,
Ветры буйные, воды тихие,
Запечатайте этот порог,
Затворите этот проём,
Чтобы злое не вошло,
Чтобы лихое не ступило,
Чтобы тёмное не коснулось.
Кто с добром – отворится,
Кто со злом – затворится.
Слово моё крепко,
Дело моё лепко.
Гой.*

Последнее слово прозвучало глухо, будто ушло в землю. И на миг Матвею показалось, что дверь вздрогнула. Чуть заметно, но вздрогнула – и замерла, став вдруг надёжной, тёплой, живой.

Марфа открыла глаза. Она тяжело дышала, будто пробежала версту, но в глазах её горел тот самый свет, что Матвей видел у Агафьи.

– Этот дом будет стоять, – сказала она. – Если не нам, то кому-то ещё пригодится.

Она помолчала.

– Убежище. На случай, когда будем возвращаться.

Матвей кивнул. Он подошёл к верстаку, где вчера заметил старую, разбитую трубку Фёдора.

Та самая, из берёзового капа, прокуренная до черноты. Он подобрал осколки, достал смолу, которой в сторожке было полно (Фёдор всегда держал про запас), и аккуратно, тщательно, как учил Кузьма, склеил трубку.

Она стала некрасивой – швы виднелись отчётливо, смола застыла неровными каплями. Но теперь она была целой. Держалась крепко, как и положено вещи, которую сделали заново.

Матвей протянул трубку Марфе.

– Положи к себе. В сумку. Мало ли... вдруг пригодится.

Она взяла трубку бережно, как живое существо. Завернула в чистую тряпицу, спрятала на дно сумки, рядом с дневником и узелком родной земли.

– Теперь всё? – спросил Матвей.

Они переглянулись. В глазах друг у друга они читали одно и то же: пора. Остаться здесь дольше нельзя. Фёдора нет. Дорога дальше только одна – та самая, примятая, ведущая в чащу.

Матвей развернул отцовскую карту. Она была старой, выцветшей, но линии на ней ещё читались. От Ольховки до Фёдоровой сторожки – знакомый путь. А дальше, на северо-восток, пунктирная тропа вела к маленькому кружку с подписью: «Дубровка. Мёд. Спросить Ивана».

– До Дубровки вёрст пятнадцать, – сказал Матвей, прикидывая по карте. – Если тропа не петляет, к вечеру будем.

– А если петляет?

Матвей помолчал. Посмотрел на тусклое, безрадостное небо, на стену леса, за которой начиналось неизвестное.

– Тогда заночуем в лесу. Если найдём где.

Марфа кивнула.

– Я готова, – сказала она.

Матвей поправил нож на поясе. Проверил, легко ли вынимается. Взглянул на компас – стрелка дрожала, указывая не на север, а куда-то в сторону той самой тропы, примятой, когтистой, страшной.

– Идём, – сказал он.

Они шагнули на тропу, и лес сомкнулся за ними, как вода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.